НАРКОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУНАЧАРСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

В ТОМСКЕ
22-24
МАЯ
1923 г.

ИЗДАНИЕ ТОМСКАГО ГУБПРОСССНАБА

Нарком Просвещения

Антолий Васильевич Луначарский

в Томске.

4494-4

22-24 мая 1923 года

Томск. Гублит № 979. Типо-литография Томского Печатно-Издательского Товарищества. Тимирязевский проспект, № 2. Печатано 2 экземп.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА Для книг ТГУ
В-26785

* *
*

В конце мая этого года г. Томск посетил Нарком по Просвещению Анатолий Васильевич Луначарский. Для г. Томска—это событие было фактом исключительного значения.

Это был первый Народный Комиссар, так далеко заглянувший в Сибирь.

Те несколько дней, которые жил А. В. в Томске, переходя с трибуны на трибуну, с заседания на заседание, об'езжая многие культурно-просветительные учреждения, ВУЗЫ, школы, детдома, техникумы,—оставили в жизни Томска чрезвычайно глубокий след.

Томичи не забудут грандиозности этих трех дней: битком набитые лучшие аудитории Томска, огневой митинг на площади в два десятка тысяч слушателей, речи комиссара, свертывающие часы в минуты, слушаемые в напряженной атмосфере переполненных зал с одним настроением: „слушать еще и еще" и с тревогой „вдруг сейчас кончит!"

Одним словом, город жил за эти дни небывалым культурным под'емом и, в этом смысле, было бы ошибкой, преступлением утопить на томской почве всю ту культурную ценность, которую А. В. оставил в Томске своим коротким пребыванием.

Правда, речи тов. Луначарского были напечатаны в нескольких №№ томской газеты, но мы полагаем, что наша мысль сконцентрировать весь материал в одном альбоме, со включением в него фотографий и автографов,—мысль совершенно правильная.

Издаваемый альбом будет необходимой настольной книгой не только для каждого культурника, но и для каждого советского работника.

К величайшему сожалению, выступление тов. Луначарского на совете университета, осталось незаписанным. Потеря большая, мы это чувствуем: это было одно из самых блестящих выступлений Народного Комиссара.

Восстановить же на память эту мастерски построенную речь мы не рискнули: она была бы испорчена.

Мы могли бы еще увеличить размер альбома, перепечатав речи, произнесенные тов. Луначарским в Ново-Николаевске, Омске, перепечатав дорожные интервью и статьи тов. Луначарского, помещенные им в „Правде" о томских впечатлениях, но это удорожило бы альбом, затруднив его покупку, и отдалило бы выход его из типографии.

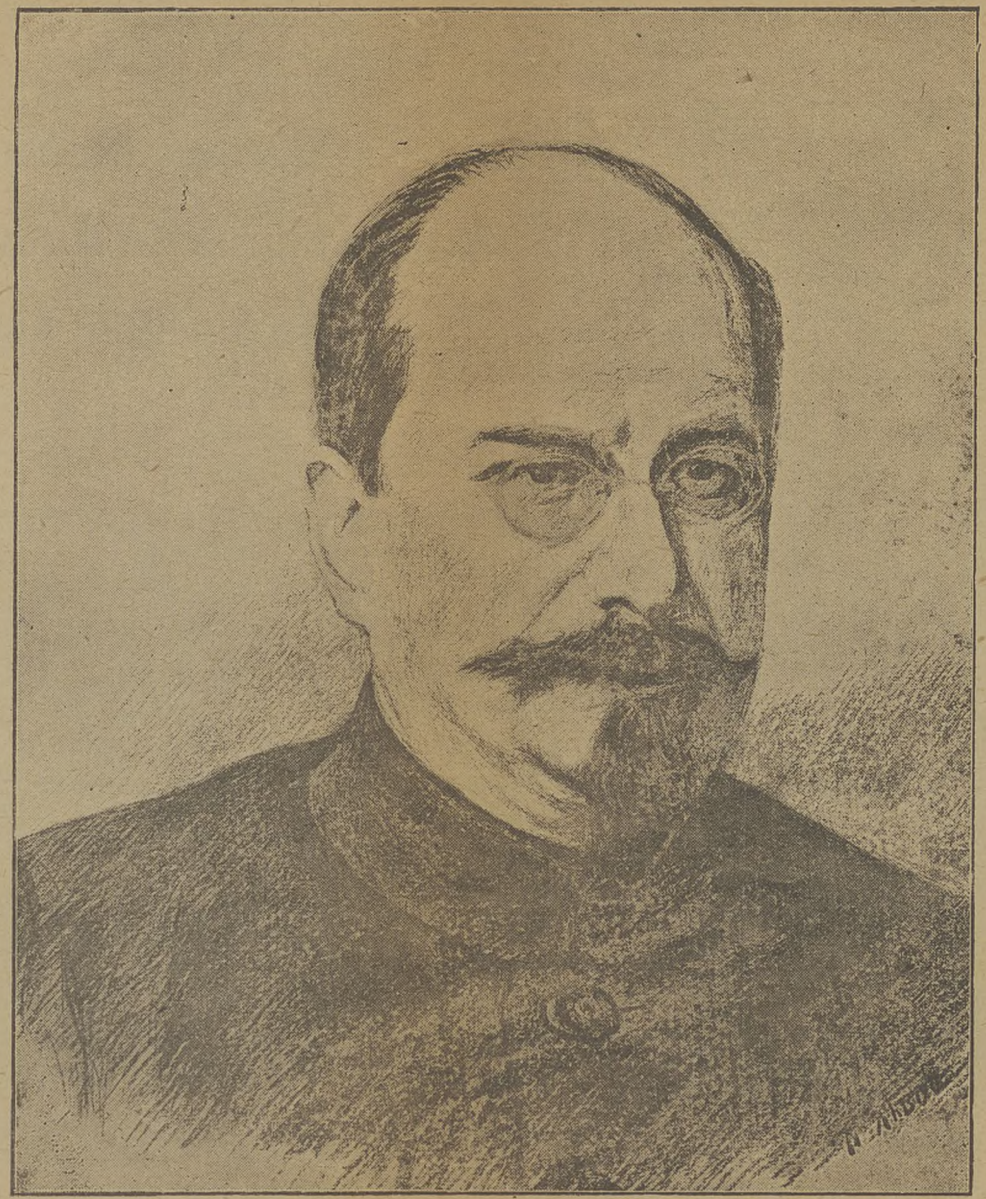
Нам не хотелось ни того, ни другого.

Итак, пусть товарищи, хотя бы прочтут то, что мы слышали.

В заключение, необходимо сказать, что суммы, вырученные от издания, пойдут в фонд помощи культурно-просветительных учреждений Томского О. Н. О.

Заведывающий ГубОНО *Карнаушевский.*

Сентябрь 1923 г.

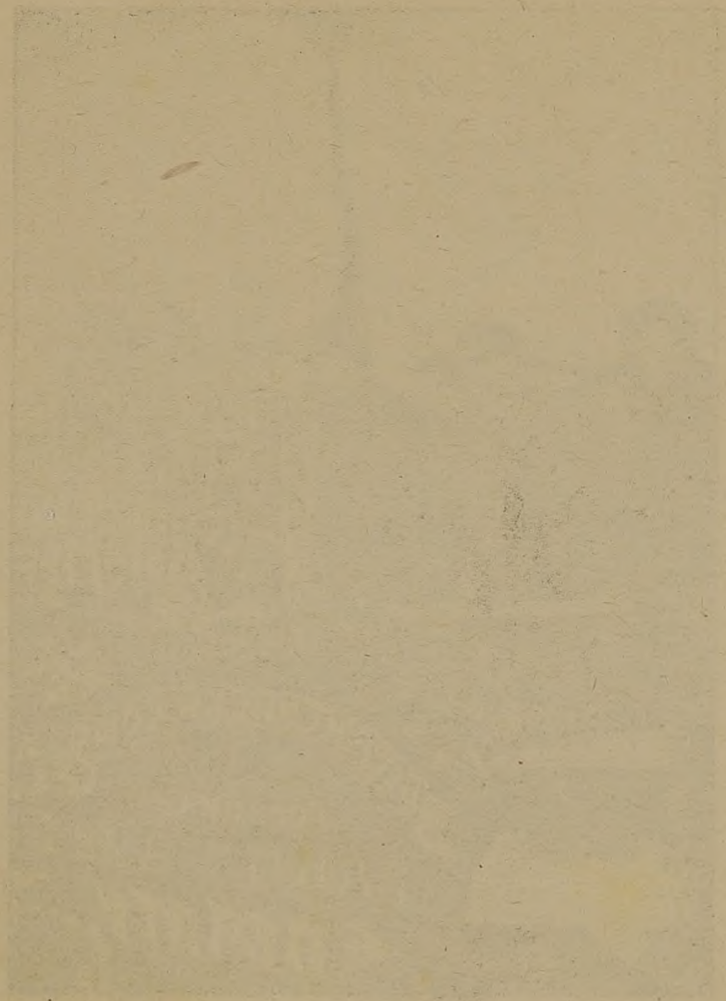


А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.

Массовый митинг на Площади Революции 22 мая 1923 года.

На трибуне. Справо налево: т. Луначарский, предгубисполкома т. Корнев, член президиума Губкома т. Вольфович.

А. В. Луначарский во время произнесения речи.



РЕЧЬ народного комиссара тов. ЛУНАЧАРСКОГО

на массовом митинге 22 Мая на Площади Революции.

Товарищи, когда я уезжал из Москвы, вопрос о столкновении советского правительства в его политике с английским империалистическим правительством стоял как нельзя более остро.

Москву я оставил после нескольких дней грандиознейших демонстраций, в которых воедино слились в протесте против попытки грозить нам все слои населения от рабочих и красной армии, через студентов, до ученых и даже духовенства. Я оставил Москву в порыве огромного патриотического под'ема, который упал на чашу весов международной политики тяжелой гирей и не только заставил их закачаться, но и определил тот исход, который можно видеть уже в день, когда я говорю с вами. Пока я двигался на Восток, то на одной станции, то на другой я встречал людей, которые говорили мне о таких же огромных, дружных демонстрациях социалистического советского патриотизма, какой мы пережили в Москве. И я убежден, что по какому бы из неизмеримых радиусов гигантского союза советских республик не поехал бы я из Москвы, всюду встретил бы я то-же глубокое понимание лозунга, брошенного советской властью: мы хотим мира, но мы с'умеем отразить всякое посягательство на честь знамени труда, достоинство которого вручено союзу советских республик, как первому государству, которым руководит труд (аплодисменты, крики „ура").

Товарищи, пока я доехал до Томска и имею удовольствие говорить здесь с вами на этом, по истине импонирующем митинге, обстоятельства изменились настолько, что, кажется, я не ошибусь, если скажу, что в результате ноты Керзона союз советских республик одержал значительную дипломатическую победу (аплодисменты, ура).

Товарищи, не ручаюсь за то, что в безумном ослеплении и озлоблении те или другие круги не повернут еще этот незаконченный конфликт к острому его разрешению. Я, тем не менее, думаю, что можно в нынешний день дать вам краткую историю этого конфликта и раз'яснить вам, томским гражданам нашего гигантского единого трудового отечества, в чем его смысл, чего нам опасаться, на что нам надеяться и как нам себя в результате этих угроз вести.

Товарищи, чем вызван самый меморандум лорда Керзона, представителя консервативной военной партии, сменившего соглашателя Ллойд-Джорджа? Этот меморандум вызван тем, что политика Ллойд-Джорджа вытекала из сознания бессилия Антанты свергнуть своего великого конкурента и будущего могильщика—советскую власть. Ллойд-Джордж был олицетворением сознания буржуазии, что у нее нет сил в распоряжении, чтобы погасить, начавшийся из Питера и Москвы, мировой революционный пожар, что все ее мероприятия смогли лишь временно локализировать этот пожар. В результате такого сознания у европейской буржуазии и у умнейшего его приказчика—Ллойд-Джорджа возникла мысль столковаться с большевиками на таких, грубо говоря, плакатно говоря, условиях:

„Мы признаем вас, большевисткое правительство, за равноправных со всеми нами, разбойничьими и мошенническими, правительствами буржуазии,—и за то, что мы примем вас в свою семью, что мы посадим вас за один стол с нами, вы должны, путем признания царских долгов, путем подписания новых векселей по займам, которые необходимы вам для машинизации вашей отсталой родины, по концессиям,—чтобы вы сами этими документами обязались распродать нам Россию, закабалить нам Россию. Скажите, большевики,—вот что спрашивали от нас в Генуе и Гааге,—что вы также, как любой Романов, так же, как любой генерал, согласны быть нашими приказчиками в России и под нашей высокой рукой делать наше дело—ограбление шестой части земного шара и ста пятидесяти миллионов тружеников!“

Смысл, товарищи, нашего ответа в Генуе и Гааге был такой: не для того рабочие и крестьяне взяли в руки власть, чтобы полезть в вашу петлю (аплодисменты, крики „ура“). Мы согласны взять от вас заем и дать вам нажить барыши; мы согласны дать вам концессии и обеспечить высокую доходность; нам самим выгодно получить средства, которые ускорили бы хозяйственный под‘ем в союзе советских республик,—но есть черта, за которой начинается кабала для народов. Этой черты, пока рабоче-крестьянский союз России жив и пока величайшая партия, какую знала история человечества,—российская коммунистическая партия,– отвечает за судьбу России, вы не переступите (аплодисменты, крики „ура“).

Смена Ллойд-Джорджа Керзоном означала между прочим и то, что вновь разочаровались буржуи: сначала разочаровались они в возможности сбросить нас штыком, потом разочаровались они в возможности купить нас рублем. Что же им теперь делать?

Нота Керзона называется ультиматумом. Так подтвердил товарищ министра Мак Нейль. Ультиматум—это значит поставка перед другой державой крупнейших политических вопросов, требований, в случае не исполнения которых в известный срок последуют военные действия. Понятно, что такой окрик, такой приказ из Лондона Москве: „Я от тебя требую—подчинись, иначе я воюю“,—должен был вызвать в сознании русского народа громадную тревогу. Мы хотим мира, мы успешно работаем на поприще мирного труда, с каждым годом мирного труда мы растем и усиливаемся, мы не хотим позволить сорвать этот рост, эту силу молодости и развития нашей союзной республики в военной авантюре. И вот нам грозят либо потерей возможностей продолжать мирный труд, либо унижением нашего достоинства. Русский народ во всей шири союзной республики, все народы, населяющие страну, которая была императорской тюрьмой и стала свободной семьей народов без различия слоев, без различия языков, религий, провинций, вместе со своим правительством, ответили: войны не хотим, обсуждать все пред‘явленные претензии предлагаем, но приказывать себе не позволим (аплодисменты, крики „ура“)!

Таков был смысл нашей ответной ноты. Мы знаем теперь из телеграмм, как поступило английское правительство, взвесив тот факт, что весь русский народ и все народы с ним союзные поддерживают свое правительство, а равно и тот факт, что рабочий класс Англии, составляющий 80 процентов ее населения, против своего правительства в этом деле. Как, взвесив это, поступило английское правительство? В английском парламенте на запрос либералов и меньшевиков—грозит ли война и грозит ли разрыв торговых сношений,—министр Мак-Нейль ответил: „Мы воевать не будем; те претензии, которые мы пред‘явили России, причиной войны быть не могут; торгового договора мы рвать не хотим,—но если советское правительство не пойдет нам на встречу, если оно не примет наших требований, то оно тем самым порвет торговый договор. Мы назначили России 10-ти дневный срок для от-

вета, но мы готовы продлить этот срок на неопределенное время. Мы не хотим конференции с русскими дипломатами,— это люди упрямые—ты им слово, а они тебе десять,—но мы согласны разговаривать с Красиным, который, как на грех, как раз прилетел в Лондон; мы рады поговорить с этим советским Красиным и найти какой-нибудь общий советский язык. С тех пор, как этот ответ был дан, прошло еще несколько дней. Перед тем, как разойтись на каникулы Троицына дня, в парламенте был вновь поставлен этот же вопрос. Меньшевики и либералы требовали от правительства, чтобы без нового обсуждения торговый договор ни в коем случае не был-бы расторгнут. И сегодняшнее радио сообщает нам, что Мак-Нейль ответил на это: правительство его британского величества склонно к уступкам и не считает необходимым, чтобы российское правительство буквально приняло меморандум; Красину сказано, чего мы хотим. Он запросил Москву. Подождем, что скажет Москва, а пока суд, да дело, парламент еще и после Троицина дня, и после дождика в четверг, с'умеет об этом поговорить (аплодисменты).

В чем же дело, товарищи? Каков смысл этого налета лорда Керзона на советскую республику? А смысл тот, что лорд Керзон знает, что воевать ему английские рабочие с русским рабочим не позволят .. Лорд Керзон знает, что мобилизовать свои силы против союза советских республик в этом 1923 году еще труднее, чем в 1919 году, но он хотел, опираясь на лживые сведения белогвардейских газет, заслышав, что мы все в глубокой печали по поводу болезни гениального вождя нашего Ленина (крики: „Да здравствует Ильич“) и он захотел пощупать почву—не испугается ли Москва, если на нее зарычит британский лев; надо было показать рабочим Запада и угнетенным народам Востока, что Москва только кажется сильной, что она еще не делит власти над миром с буржуазным Лондоном и что перед натиском Лондона она трепещет и уступает. Вот чего нужно было Керзону и вот чего мы ему не дали. Правда, лорд Керзон может выпустить на нас пару гончих—польского пана и румынского боярина, но с тех пор, как выпустили таким же образом греческую гончую, а Турция хлыстом прогнала ее назад, Англия стала благоразумнее.

Мы войны не хотим ни с Польшей, ни с Румынией, но, товарищи, мы спокойно гарантируем, что если польской шляхте или румынским черносотенцам захочется к нам сунуться, мы их основательно поколотим (аплодисменты и крики „ура“). И англичане знают это так же хорошо, как мы сами. Поэтому, товарищи, я думаю, что данный окрик Керзона обратится ему с конфузом. Он помог нам сознать, как мы сильны, как мы едины, как эти шесть лет испытаний, страданий, поражений и побед слили нас в единый блок, об который каждый враг обломает свои зубы (аплодисменты и крики „ура“). Меморандум Керзона и злодейская пуля, сразившая товарища Вацлава Воровского, перед всем Востоком, перед океаном эксплоатируемого человечества великой Азии показали, что заступником его, рыцарем его, авангардом его является рабоче-крестьянский союз советских республик (аплодисменты, крики „браво“)

Вот чего добился Керзон и больше ничего не добьется. Но мы знаем, товарищи, что мы будем расти и дальше, что с каждым годом мы будем поднимать наше сельское хозяйство, нашу промышленность, нашу торговлю, наше просвещение, нашу оборону. Они знают, что мы растем, и, вероятно, наступит такой день, когда они поймут, что как ни страшно померяться с нами им, буржуям, ненавистным своим народам и нашему московскому правительству, сплотившему вокруг себя трудящихся всего мира, как ни страшно вызвать на бой выросший мир труда, отказаться от боя больше нельзя, потому что отказ от него равносилен признанию своей гибели.

Они устрашатся в один прекрасный день разговора с Москвой, и когда они скажут: „мы хотим мира“, когда мы услышим топот рабочих батальонов, выступающих в их промышленных центрах против них, когда мы увидим бурю на океане азиатских народов, скажем: теперь мы не хотим больше мира („ура“, аплодисменты).

Товарищи, мы заинтересованы в том, чтобы войны не было как можно дольше, нам нужен долгий мир. Он ростит наши силы. Будем все, как один, так, чтобы мускулы рвались, чтобы кости трещали, учиться, пахать, строить, ковать, будем работать над ростом нашего союза советских республик и будем стоять на страже, чтобы попытка преждевременно сорвать плодотворный наш мир встретила грозный и сокрушительный ответ со стороны нашей великой красной армии (аплодисменты). И ты, сибиряк, разрабатывай громадную часть мира, которая поручена тебе историей, с ее несметными богатствами на благо тебе, на благо союзу республики, на благо человечества. И ты, сибиряк, помни, что твоя крепкая рука, твоя северная холодная отвага может понадобиться, как оплот и защита на границе твоей социалистической родины. Мы там, в Москве, верим в тебя, сибиряк, сибирский рабочий, сибирский крестьянин, сибирский трудовой интеллигент! И я хочу принести с собой не из медвежьего угла—Томска, а из великого культурного центра Азии—Томска, принести с собой ваше обещание, вашу клятву жить и умереть для роста свободной семьи наших содружественных народов и для победы труда на земном шаре (аплодисменты).

Да здравствует, товарищи, несокрушимая растущая сила труда! Да здравствует грядущая полная победа плодотворного счастья, дарующего мир труженикам под единым красным знаменем! (Аплодисменты, крики „ура“, оркестр играет „Интернационал“).

Заключительное слово.

Товарищи, я не буду отвечать на многие записки, которые мне поданы. Вы сами понимаете, что с вами, с такой большой громадой, разговаривать не так-то легко. Но я отвечу вам на многочисленные записки, поданные относительно здоровья Владимира Ильича.

Великий вождь поражен тяжелой болезнью. К счастью, со дня на день в его положении наступает все более заметное улучшение (аплодисменты, крики „ура“). Мы дружески не позволим больше Владимиру Ильичу работать так нечеловечески безжалостно к себе, как он работал до сих пор, но мы твердо надеемся, что он займет свое место у руля нашего корабля, и мы просим, товарищи, верить, что им основанная, им выпестованная российская коммунистическая партия строго следует линии, мыслям своего вождя и что за время его отсутствия никаких ошибок, никаких колебаний, никаких разногласий среди нас нет (аплодисменты). С Лениным или временно без него, но с его мыслями, с его заветами российская коммунистическая партия есть и останется самой сознательной, самой великой мировой силой истории.

Товарищи, да здравствует российская коммунистическая партия и ее вождь Владимир Ильич Ленин! (Аплодисменты, крики „ура“, оркестр играет „Интернационал“).

Студенчество и революция

Речь т. Луначарского на сходке-митинге студентов томских ВУЗ 23 мая.

Появление т. Луначарского встречается продолжительными и бурными аплодисментами.

— Товарищи, я подойду к моей теме несколько шире для того, чтобы выяснить возможно более роль студенчества в его разнообразных слоях в жизни советских республик, в их недавнем, но многославном прошлом и в их еще более славном будущем. Я хочу дать вам некоторый очерк роли студенчества вообще в социальной структуре, останавливаясь, главным образом, и почти исключительно, конечно, на студенчестве европейском и русском.

Что такое вообще студенчество? Вы знаете, что университеты, высшие учебные заведения, которые возникли во многих европейских странах в недрах средневековья, представляли собою сначала, главным образом, и почти исключительно, учреждения полуцерковного, полуклерикального характера. Университет, по возникновении своем, немедленно поступал в распоряжение и под контроль богословского факультета, который считался первым и сам был связан с крепкой международной римско католической властью. Местная власть,—когда местной властью являлись национальные королевства, герцогства и т. д., имела сравнительно меньшее влияние на университеты, по крайней мере, в первую пору их развития, и они имели в величайшей степени интернациональный характер; имели интернациональный характер, во-первых потому, что языком преподавания был международный латинский язык, во вторых, потому, что в каждом университете имелось несколько, так называемых, национальностей, т. е. вы могли встретить скажем, в Парижской Сорбонне организованных по землячествам,—как это было и у нас одно время в русских университетах,—венгров, поляков, немцев, итальянцев, англичан. Конечно, по степени славы данного университета и по его географическому положению количество этих национальностей, количество студентов каждой из них менялось, но по существу схоластический студент мог перейти, скажем, из Праги в Париж, вообще из одного университета в другой. Профессора точно также переезжали куда угодно; не надо было эсперанто, была латынь, все друг друга прекрасно понимали, и научный язык был в высшей степени общий. Со стороны международной богословской мысли, очень крепко контролируемой из единого центра и столь свирепо преследовавшей всякое уклонение в области богословия в собственном смысле, в университетском преподавании сравнительно редко возникали уклонения от ортодоксии. Рядом стали развиваться университетские, высшие философские и естественно-научные доктрины, которые представляли собою, в смысле фактического содержания, грубый, можно сказать, варварский зародыш науки. Мы не встречаем в этот период развития университетов почти ни одного самостоятельного исследователя: если какой-нибудь естественник, в собственном смысле слова, появляется, на горизонте то его расславляют колдуном; если мы встречаем такую личность, как Бэкон, как первый Роджер Бэкон, то надо сказать, что как раз его гениальное прозрение осталось почти совершенно безрезультатно. Но это не значит, чтобы университеты, вызванные к жизни и регулируемые церковью, имея эти схоластические аннексии (причем философия, обнимавшая собою все науки, считалась, как вы знаете, служанкою богословия), чтобы эти университеты тем не менее не были очагом самостоятельной мысли. Если в схоластической науке сторона индуктивная, опыт, была поставлена ниже всякой критики, то формальная логика была доведена до столь широкого совершенства, что мы, разве только в немногих, пяти-шести, нынешних европейских ученых, специально отдающихся этому, можем найти хоть в некоторой степени сравнимое с гигантской остротой формального мышления, до которого доходили тогдашние великаны. Это были люди формальной мысли, необыкновенно чеканной, виртуозы формального мышления. И сейчас нельзя без восторга читать их произведений, великолепных с точки зрения внутренней остроумнейшей структуры, творцы которых совершенно ничего не знали о правильной постановке гносеологических проблем.

В течении всех средних веков ведется борьба между номинализмом и реализмом, защищается каждое из этих мировоззрений, каждое

из этих мировоззрений выдвигает гигантов ума. И когда вы присматриваетесь, что это такое, эта борьба реалистов и номиналистов, когда вы взвешиваете великих тогдашних номиналистов, какого-нибудь проповедника, какого-нибудь странствующего рыцаря, вроде Абелара, или какого-нибудь гигантского мыслителя по формальной силе мышления, как Окампо, то вы чувствуете, что не на шутку ведется борьба; церковь в общем покровительствует реализму, но номиналисты хитры, они вьются, как ужи, скрывают настоящую суть проводимого мировоззрения. Однако для нашей теперешней мысли эта суть ясна.

Реалисты считали, что общие понятия суть настоящие вещи, есть предмет, бытие, сущность, эссенция, а то частное явление, которое мы находим в опыте, представляет собою их случайное и временное отражение. Поэтому настоящее мышление должно быть направлено на эти „res", номинальность, абстракцию, и путем абстрактных построений изучать эту абстракцию. Номиналисты считали, что общее понятие, абстракция—просто „nomina", имена, термины, что человечеству дано, как реальность, именно это преходящее, волнующееся, непосредственное бытие. И, в самом деле, в этом столкновении сталкивался мир церковный и феодальный, верхушечный, классовый мир, который держался за абстракции: бог, церковь, истина, государство, за абстракции с доходов на которые этот верхушечный мир жил и на них опирался, и по отношению к которым мир торговцев, ремесленников, крестьян, бродяг и самих студентов, которые были чем то средним, являлся миром призраков, который должен был повиноваться вечным законам, продиктованным этой подлинной действительностью, скрывавшейся за миром. Таким образом, реалисты средневековья были уже тогда идеалистами по существу, ибо слово „res",—реальность—у них понималась в том смысле, в каком Платон понимал выражение идеи; а номиналисты были материалистами, хотя, правда, они не опирались на правильное понимание структуры материи, так как тогда до этого было далеко; они даже не осмеливались сказать, что именно материя есть та единственная субстанция, которая в многообразных своих проявлениях и воздействии на человеческий ум исчерпывает весь опыт. Они только утверждали, что абстракции не реальны, они не существуют, абстракции—это имена. Их спрашивают: тогда скажите,—а что бог. И тут был очень большой спор, тем более, что христианство давало для этого большую основу. Как известно, христианский бог—странный бог, страннее, чем тот двухголовый теленок, которого показывают у вас в музее: у него три лица, но он один, и понять это с точки зрения даже самой острой средневековой мысли было трудно. Что значит три лица—сущности? Субстанции эти три лица или нет? Если они субстанции, тогда они существуют и тогда слово бог есть просто „nomen", а на самом деле есть три бога. Номиналисты говорили: если вы утверждаете, что всякое об'единяющее понятие есть простое имя, тогда у нас один бог. Реалисты были склонны номиналистов за это попросту поджаривать на огне, потому что последним аргументом церкви был этот весьма горячий способ дискуссирования. Если же признать, что настоящая эссенция, настоящая реальнейшая реальность есть бог, тогда оказывалось, что три его лица есть его аттрибуты или проявления, с чем церковь не соглашалась: церковь требовала признать и один и три,—хоть тресни. Номиналисты говорили, что этого не может быть, а церковь говорила: если не может, я тебя сожгу, тогда увидишь, что может... Несмотря на силу этого своеобразного аргумента, она не была победоносна. Как видите,—в любом явлении это было так: Допустим, в знаменитом споре о причастии; что такое причастие, как „res"—кровь и плоть. Номиналист говорит: я с вами не согласен, и осторожно заявляет: это, конечно, кровь и, конечно, плоть и никакая-нибудь кровь, и никая нибудь плоть, а именно Христова. но сие надлежит понимать духовно, а чтобы „отдавши эту кровь" в лабораторию одного из ваших университетов, не констатировать, что все-таки это вино это возможно проверить, и нельзя думать, что в отделе товароведения института Тимирязева сразу не узнают, что это не мясо, а хлеб. За подобные мысли жгли: надо было верить, что это настоящая кровь. Сейчас почти чудовищно подумать, что в университетах тогдашняя правая профессура против горстки левой профессуры говорила: „кровь самая настоящая кровь, а кто не думает, что это кровь и говорит, что это не кровь, а вино, того из университета во всяком случае, надо вышибить, а по возможности, и сжечь". Таким образом, велась борьба между правой и левой профессурой. Студенчество тоже раскалывалось: были тогда академисты, схолисты, хотевшие быть хорошо обставленными, с точки зрения доходов, духовными лицами, которые говорили: „Я решительно настаиваю на том, что это кровь, потому что иначе епископской фиолетовой мантии мне не видать". Но были студенты, бродячие, косматые, ходившие с котомками, ничего не имеющие, ни на что не расчитывающие,—это был революционный микроб, начинавший во имя чего то разлагать церковное феодальное общество, и вот эти в подлинном смысле студенты пролетарии,—эти „Счастливцевы и Несчастливцевы,"—они заявляли: „Не кровь, а вино, которое мы лю-

бим выпить в каждом кабаке, мимо которого проходим"; они поддер живали с величайшим рвением левую профессуру. Это волнующееся море студентов, которое начинало сомневаться во всех богословских истинах, номиналистическое студенчество, оно отличалось некоторыми другими чертами: буйностью, необычайным презрением к обывателю, который не говорит по латыни; они его называли филистимлянин (отсюда—филистер). Кроме того, у него был развит националистический душок. Это заставляет, пожалуй, с удивлением отнестись к себе. Скажем, в гигантском Пражском или в не менее огромном Оксфордском университетах борьба идет не только по линии богословского права, но и по линии утверждения собственной национальности. Утраквист-студент, который считает, что надо давать и прихожанам причастие в обоих формах, а не только в форме облатки, или он какой-нибудь полутаборист, или окончательно таборист, беспоповец, у которого от христианства осталась только фразеология, террористическая и глубоко демократическая, плебейская фразеология, но этот студент прежде всего чех, и придерживается ли он Гуса, или более левых, или правых, но он чех. И также точно и учитель Гуса в Оксфордском университете Виклиф: основой его проповеди являются не только научные, диалектические, логические противоречия, но и борьба за самоутверждение Англии. Присмотримся к этому: что это значит—борьба против абстрактного мира за мир реальности, борьба против церкви и ее предрассудков,—власти римского духовенства и утверждение своей самостоятельности. Какого класса представителями являлись эти студенты, почему эти студенты и остающаяся во главе их кучка немногочисленных профессоров, которых нельзя было просто уничтожить, как уничтожили Гуса на Костантцком соборе,—стали во главе возникшего революционного движения? Даже сам Генрих VIII встал во главе революционного движения; само собой разумеется, что он придал ему половинчатый характер. В чем дело? Дело в том, что созрел буржуазный класс с его торговлей, с его промышленностью, с его стремлением создать национальное государство с хорошими дорогами, с хорошей жандармерией, с хорошими консулами, с опорой для промышленности, с полной защитой внешних границ—словом, меркантильный, торговый капитал, ссужавший не только деньгами своих монархов в их борьбе со старым католико-феодальным строем, но дававший из городов и частью из студенческих масс бойцов для защиты от Рима и защищавший империю от иностранцев. Студенчество набиралось из разных классов, но по преимуществу из горожан: оно было передовым слоем городской культуры, оно вырабатывало идеологию городской культуры, в трех стадиях совмещавшихся и сменявших друг друга. Сначала студенчество начинает подрывать веру в церковь, веру в Рим, расшатывать чужие позиции; потом оно страшно увлекается римским правом: юридические науки развертываются во всю, потому что буржуазия нашла в римском праве подходящее для себя правовое выражение собственности. Римская собственность, как вы знаете, выражающаяся в праве употреблять и злоупотреблять данной вещью, которая является имуществом, она необходима была для дальнейшего развития буржуазных отношений; между тем, римский феодальный мир, в сущности говоря, настоящей собственности не знает: собственность когда то, кем то дана в пользование на каких то определенных условиях, она вся рациональна, она представляет собою сложнейший переплет социальных отношений, римская собственность представляет переплет отношений частно-собственнических в классической форме. Студенчество берет на себя поставить легистов, знатоков для королей, князей, для коммерческих палат, для банкирских фирм, для судов самой буржуазии, для больших городов, их ратуш и советов.

Затем наступает полоса, когда начинает подготовляться естественно-научный поворот, когда не только ради борьбы с церковью обращают внимание на естественные науки, но потому, что ремесло, переходя в стадию научной постановки, мануфактуры, укрепления труда путем наблюдения над явлениями трудовыми, а стало быть, над материальными, над техникой, поставило перед собою часть материала для того миросозерцания, которое мы находим тогда, когда города вырастают. Когда выросли греческие города на побережьи, то появились такие люди, как Демокрит, Эпикур, Лукреций; когда вновь выросли торговые города, явились новые атеисты, отчасти Френсис, Бэкон и Гассенди, Гоббе и т. д. Таким образом, студенчество шло впереди своего класса, буржуазного класса, и подготовляло все для тех гигантских буржуазных революций, которые потом наступили в XVII-м веке, а вслед за ними реформы, которые отрывают от Рима большинство стран и делают их самостоятельными. Правовое движение реформистское, опирающееся тоже на студенчество более правое, говорит только о национальной самостоятельности и ведет линию в духе королей и князей; более левое—кальвинисты, цвинглианцы, пресвитерианцы ведут борьбу во имя зажиточной буржуазии городов; самое левое движение, анабаптиское ведет борьбу за мелкую буржуазию и пролетариат, доходит до мюнцеровского восстания, доходит до ком

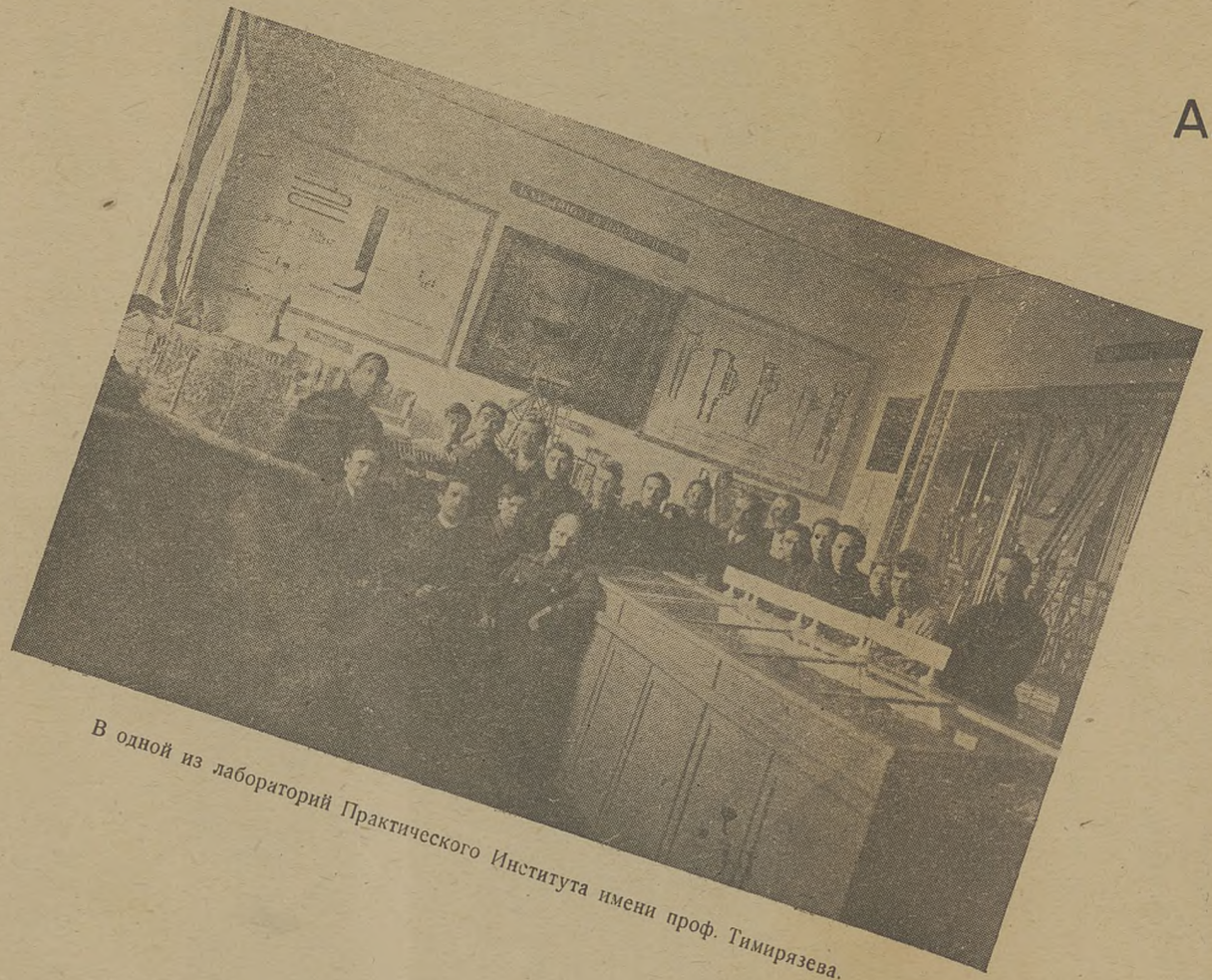
мунистических идей и каких нибудь идей еще левее, как союз первоначального текстильного и горного пролетариата, стоявший во главе безумно обнищавшего крестьянского движения Мюнцера. Эти крайне левые течения подавляются в Германии, Чехии, торжествуют в Швейцарии, на половинных началах проводятся в Германии и Англии, перекатываются дальше, и в Англии выражаются в XVII веке в форме еще одетой, по выражению Энгельса, в библейские одежды пуританской революции Кромвеля—торгово-промышленная буржуазная республика, во имя чего отсекается голова Карла первого. Затем, буржуазия наиболее энергичная, выкинутая за океан, производит свою революцию в Америке, потом французскую революцию и т. д.

В течение всего этого времени мы видим студенчество одним из первых во всех этих революциях. Студент, левый студент, играл роль солдата и пропагандиста революции, начиная с первых схоластических сомнений и кончая великой французской революцией.

Дальше наступил период, в котором студент играл, пожалуй, еще большую роль. Дело в том, что буржуазия, более или менее победившая во всех странах, придала университету новый характер: богословие отходит на задний план, а на первый план выдвигаются естественные и общественные науки. Буржуазия сделала из университета свое орудие, университет стал зависеть от буржуазии; зависел он от буржуазного государства и крупных капиталистов, а наполнялся главным образом мелкой буржуазией. Мелкая буржуазия стояла между пролетариатом, который был еще слаб, и крупной буржуазией, которая стала ее разорять, экспроприировать. Мелкая буржуазия не умея стать социалистической, потому что она мелко собственническая, в то же время протестовала против капитала, как великого своего врага; и студенчество эпохи 48 года носит на себе этот же характер: студент—острый националист—во Франции, Германии и т. д, требует организации своего самобытного отечества на республиканских началах, требует демократических устоев для этого отечества Он чуждается социализма, критикует его, недоброжелательно к нему относится. В массе своей, в случае прямых столкновений с рабочими, как например, в июльские дни, студенчество раскалывается: часть идет к пролетариату, а часть оказывается по ту сторону баррикад Студенчество в общем занимает демократическую позицию. В Италии оно со страстной энергией и под'емом борется за свободу и производит такую революцию, как Миланская революция, защита Венеции, римская республика и так далее. Главной опорой для всех этих движений является студенчество.

В России к этому времени университеты только возникают У нас университеты, как таковые, никогда не были орудием церкви. В России университеты вызваны к жизни сразу меркантильным капиталом. В период Петра и Екатерины, последней в особенности, русская буржуазия и власть, находившаяся под давлением ее интересов, сознала, что нельзя опираться только на одно дворянство, что его нельзя даже как следует научить европейской науке, что оно тупое и наровит либо жить себе в утробу, сечь своих крестьян, либо, если является служилым, то это офицеры разных рангов или какой нибудь придворный шаркун. Между тем, понадобилось организовать флот с научно подготовленным офицерством, проводить сеть путей сообщения, развивать промышленность, налаживать коммерцию; понадобился чиновник не такой, который был раньше, который отправлялся на кормление, ибо со стороны некоторой грабительской шайки должность рассматривалась, как такое кормление. Конечно, грабительская шайка с царем во главе осталась, но она поняла, что надо организовать страну, иначе ее поколотят: если не швед, то поляк, если не поляк, то немец, если не немец, то англичанин,—все равно кто нибудь да поколотит: нельзя оставаться глиняным горшком среди чугунов—треснешь Поэтому дворянское по происхождению правительство ищет в ком-нибудь опоры: надо новых знающих чиновников европейского образца. Оно всячески заботится о развитии индустрии и торговли, развитии просвещения страны. Это не значит, что оно хочет просветить народ, но ему нужно несколько тысяч, десятков тысяч людей, которые могли бы налаживать по европейски большую вотчину, которой являлась Россия. Университеты довольно быстро стали в оппозицию, даже дворянское студенчество: ведь в университет шел не тот дворянин, который мечтал о петличках и выпушках, не шаркун придворных балов, не косопузый помещик, который думал чесать у себя пятки при помощи дворовых, но шла наиболее отзывчивая часть, представлявшая собою культуру тогдашнего дворянства, которая читала такие прекрасные библиотеки, которые у вас имеются, вроде Строгановской: это были сливки дворянства, которые понимали, что если они живут на холопах, то и сами являются холопами по отношению к царской власти. Назревало то настроение, которое прорвалось было в декабристском восстании. Традиции помещиков сливались в одно с интересами зарождающейся буржуазии, шедшей не только в виде Колупаевых и Разуваевых, но и в виде студентов-разночинцев. И мы видим трогательное соединение дворян Бакунина и Герцена с разночинцем Белинским. Такое студен-

А. В. Луначарский в ВУЗ-ах г. Томска.



В одной из лабораторий Практического Института имени проф. Тимирязева.

В Технологическом Институте.

А. В. Луначарский в Практическом Институте имени проф. Тимирязева

С удовольствием осмотрел интересное учебное заведение имени Тимирязева. Желаю ему роста и уверен, что оно с честью послужит хозяйственной мощи Социалистического отечества

Нарком А. Луначарский

23/V 1923 г.

Автограф: „С удовольствием осмотрел интересное учебное заведение имени Тимирязева. Желаю ему роста и уверен, что оно с честью послужит хозяйственной мощи Социалистического отечества. Нарком А Луначарский".

чество глубоко оппозиционное по отношению к правительству; оно чем дальше, тем больше мечтает об оппозиции, которая шла бы не то в духе мелкой буржуазии, не то в духе англо-германского утопического социализма. Отзывчивое студенчество понимает, что надо опираться на массы, без масс самодержавия не свергнешь и не развернуться свободной жизни перешедшей к сознательности интеллигенции. Таким образом, у нас сороковые годы очень мертвые внешне, но внутренне живые. Пятидесятые годы представляют собою кипение русского общества, главным образом, через студенчество и левую профессуру. Правая профессура, правда, так открыто тогда уже не требовала, чтобы признавали, что священник дает кровь, а не вино, но требовала подобной же глупости: она проповедывала основные устои самодержавия, устои православия в такой скалозубовской форме, что малейшее движение проявляющейся мысли вызывало если не костер, то ссылку в Сибирь и каторгу, а порой—как например, было с кружком петрашевцев,—даже и расправу, ничем не лучшую, чем тот же костер. Таким образом, студенчество вступало в борьбу с самодержавием, которое само вызвало к жизни интеллигенцию; первым же застрельщиком последней являлся студент.

В дальнейшем на Западе и в России роль студенчества меняется: на Западе пролетариат начинает выступать, грозя чартистким движением; июльские дни, 48 год, самостоятельное выступление „Новой Рейнской Газеты“ с Карлом Марксом, Коммунистический манифест, первый Интернационал, стачечная кампания,—все это заставляет сделаться реальностью то, что отразилось в знаменитой фразе Маркса: „Красный призрак бродит по Европе“. Не только крупная, но и мелкая буржуазия испугана красным призраком, и студенчество постепенно переносит свой центр тяжести в чисто бюргерские демократические идеалы. В дальнейшем, когда пролетариат вырастает в гигантские революционные партии, студенчество переносит центр тяжести еще правее.

Что такое немецкий студент 10—20-х годов? Увлекающийся философией молодого Гегеля, мечтающий о французской революции идеалист, не практик, но весь прекраснодушный, полный мыслью об об'единении всего человечества, о грядущей высокой культуре, о возвращении Греции для всего мира и т. д. А что такое германский студент 60—70-х годов? Это уже бирбурш, пивной парень, расцарапанный по всем швам рапирами, отчаянный националист, отчаянный поклонник власти, человек проникнутый инстинктивной ненавистью буржуйчика к рабочему классу.

Французское студенчество: в одном из ваших учебных заведений я видел сегодня копию с картины Делякруа, изобращающая студента рядом с рабочим на баррикадах. Да, это было! Вспомните чудесное описание революции 30 года у Гюго: там же есть описание 48 года в в его романе „Les Misérables“. Возьмите французского студента конца века и начала нового: это исключительно папашин сын: он приезжает в университет с хорошо набитым кошельком, он больше времени проводит в шикарных кафэ, чем в университете, он окружен специальным штатом, для него существующих проституток, пожирает в качестве молодого зверя целый ряд молодых жизней, которые кончают где нибудь в больницах смертью от сифилиса, или психической болезнью, или травятся, убивают своих детей и т. д.; в дальнейшем он готовится также жрать, на этот раз настоящую плоть и настоящую кровь пролетариата, стремясь превратиться в то маленькое, организующее промышленность для себя чудовище, каким является буржуазия. К этому студенту вы никак, ни с каким идеализмом и ни с каким материализмом не подойдете. Кое-кто больше заинтересован в абстрактных вопросах —это главным образом человек, делающий карьеру, берущий аттестат, что бы войти в правящие классы.

В то время, когда на Западе происходила эта эволюция, наше студенчество подтягивалось к своему классу, который становился правее, и вынимая свои студенческие шупальцы из народного тела,—ибо ему нечего было увлекать на приступ;—оно становится к нему враждебным, переходило к обороне от народа.

В России буржуазия имела перед собой косное самодержавие, такого кощея, который старел, умирал, гнил, а страну из своих рук не выпускал. Громадная крестьянская равнина, в которую собраны были большие силы замордованных солдат, казематы, построенные по западному образцу (у пруссаков брали твердость дисциплины и режим, у французов—Луи Филиппа и Наполеона III—провокаторство, тайную полицию, одним словом, последние слова тюремно-полицейской науки), а внутренняя сущность всего этого была самая непосредственно звериная, бандитская: делили Россию, и неслыханной роскошью расцветало наше дворянство и отчасти набивший свое брюхо капитал первого накопления за счет невероятнейшей нищеты русского крестьянина и зародыша русского пролетариата. Буржуазия была в массе этим строем недовольна: она мечтала минимум о республике, о демократии, о просвещении и глубоко сознавалась, что без народных масс сделать

ничего не может, как, скажем декабристские офицеры ничего не могли сделать безсолдат; она сознательно и бессознательно ставило перед собой проблему, как вовлечь народ в борьбу с самодержавием. На подробностях этого народничества останавливаться не буду,—всякий должен это знать, всякий должен четко знать, как от утопического, либерального социализма Герцен перешол к крестьяно-маляйству, как Бакунин стал себе делать кумиры из буйной вольницы казачества и русского-крестьянского бандитства, как Лавров основывает свои надежды на мирной и интенсивной пропаганде массам и уяснии им их интересов, как величайший русский пропагандист Чернышевский старается свои социалистические идеалы соединить прочно с западно европейским социализмом, базирующимся на самостоятельных выступлениях пролетариата,—все это и многое другое надо знать, но смысл всего этого тот, о котором я сказал: буржуазия и буржуазное студенчество ищут союза с народом. Не подумайте, что это значит, что они хотят околпачить народ: субъективно эти поиски в героическом студенчестве среди идеалистического настроения молодежи рисуются как поиски такой правды, такой истины, которая была бы и истинным добром, и истинной справедливостью, истинной действительностью, хотят научно разрешить социальную проблему для всего человечества в направлении величайшей справедливости. Что может этих молодых идеалистов от Белинского и Добролюбова и их бесчисленных читателей в столицах и провинциях удержать? У них свойственности нет, они и сами—умственные пролетарии и, ставя перед собою эту проблему, на которую толкает их собственный класс, они разрешают, доходя до конца в высшей степени радикально. К тому же в России буржуазия сама по себе была слоем тонким, достаточного количества студентов из этой среды набрать было нельзя, еще менее того—из среды нескольких сот тысяч дворян; поэтому царские университеты, как это не парадоксально, тянули в себя людей из народа. Конечно, это не были люди в полном смысле из народа, но это были поповы, дьяковы, дьячковы дети, дети фельдшеров, мелкого служилого люда, крапивного семени,—вот отсюда, из этих мелких грамотных людей, разных стрикулистов, Кутейкиных и Цифиркиных.

Вот их дети приходили в университет, и они не без основания пели про себя: „Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой"... Это была мелкая разночинская интеллигенция, и эта интеллигенция тем более могла занять очень радикальные позиции. То было время великого расцвета студенчества, которое составляло основу симпатичнейшей, горячей, вдохновенной публики тогдашних великих публицистов, память которых и мы, коммунисты, глубоко чтим, которым ставим памятники на улицах и площадях. Это был тот читатель, тогдашний студент в первую очередь, который сформировал нашу могучую литературу, вызывающую удивление у европейцев, это они, вопреки расфранченной буржуазии первого призыва и дворянской тупости, овациями встречали произведения „могучей кучки"—оперы Мусоргского, картины Крамского, Репина; они создавали, как отзывчивая среда, атмосферу той великой культуры, которая создавалась в России, в особенности в 60-е и 70-е годы: Тогда интеллигенция выступала гордо, перед самодержавием шеи не гнула, Колупаевым говорила подлинную правду, а если мешала цензура, то прибегала к эзеповскому языку, народ любила крепко, училась у него живописи, архитектуре и музыке, брала полными руками от народных сокровищ и перечеканивала все это в настоящее чистое золото. Не верьте тем, кто говорит, что все это для нас умерло и что какие нибудь футуристские финтиклюшки для нас ценнее и ближе,—это вздор.

После этого студенчество стало притягиваться страшной магнитной силой—созревшим пролетариатом. Интеллигенция маршировала впереди народа. Правда, она была проникнута народническими предрассудками, не знали они, что такое социализм и как он сочетается с капитализмом,—только первые лучи марксистской науки начинают проникать в Россию,—но это не мешает им охватить своим варварским, полуазиатским, захолустным, ядренным, блещущим силами, мышлением и творчеством, охватить самый внутренний нерв, по крайней мере, крестьянскую массу, и умело в этом смысле говорить языком этих масс. Но крестьянская масса рыхла, дезорганизована и не способна к самостоятельной организации: нужен великий класс, близкий к крестьянству, чтобы железным обручем сковать этот великий сосуд человеческих энергий, каким является крестьянство, но сосуд, который ежеминутно грозит распасться. Интеллигенция постаралась это сделать. Народничество было таким явлением, когда интеллигенция, студенчество, попыталось сформулировать свои идеалы возможно более в духе народа, пойдя как можно дальше в своей политической программе навстречу требованиям крестьянства и больше западного, чем своего пролетариата, создавши народнический социализм.

Явиться организатором крестьянской стихии и крестьянский прибой повести против самодержавия,—интеллигенции и студенчеству это

не удалось. Революция в 70-х и начале 80-х годов оказалась сорванной: старшая интеллигентская братия, кончившая университет, пошла вразброд, началось время толстовского непротивления злу, время так называемых мелких дел, политического реализма, беспробудного пьянства, порой сумасшествия и самоубийства. Угасает не один Успенский и Гаршин, а сотни таких Успенских и Гаршиных, которые не могли пережить своих иллюзий единства с крестьянами, которые умерли от мужичьего равнодушия,—оно их убило,—а другие, видя, что мужик равнодушен, сказали: „Пойдем в деревню, в школы, учить грамоте крестьян, утирать их ребятишкам сопли, лудить рукомойники в больницах; это дело медленное, лет, пожалуй, на 500, но что-же поделаешь, если иначе не раскачаешь его". И третьи говорили: „Надо взять его, мужика, со стороны подлинной души". Почему,—говорили толстовцы,—крестьянин вас не понял? Да потому, что вы к нему пришли с европейской мудростью. Какой там социализм марксизм: крестьянин живет крепкой „божьей" правдой, верой в то, что земля божья, что если на ком есть крест, тот не обманет и т. д. За это его и надо ухватить, за присущее ему христианство, поклониться мужицкой христианской правде, опроститься и пойти в народ, есть в деревне капусту, приготовленную собственными руками от начала до конца. Но так, как рядом с позицией, которая заключалась в том, что в виду отказа горы идти к Магомету, Магомет решил идти к горе и поселиться у ея подножья, не двигаясь никуда, рядом с этим реакционнейшим направлением шло сопротивление царскому и чиновничьему насилию, бессильнейший отказ от революционной активности, так как рядом с этим шла иллюзия, наивная, глупая вера в то, что простыми словами можно заставить царей, бар, митрополитов, министров, жандармов, помещиков сдаться правде, то, само собою разумеется, все это движение вместе взятое было глубоко реакционно Один из величайших последышей народничества гигантский Салтыков-Щедрин высмеивал с неподражаемым сарказмом сдачу позиций. Нельзя забыть его острых издевательств, которыми покрывал он непротивленцев; припомните великолепный „сперл ерша и карася идеалиста", который несмотря на то, что щука от'ела ему уже хвост, сказал: „А знаешь-ли ты, щука, что такое правда?" и думал, что от этого она немедленно сделается доброй.

Товарищи, щука доброй не делается, а радуется, что карась стал из ерша карасем: карасями оба кормились. На то ведь и она в воде, чтобы караси не дремали. Щука кормилась и разросталось щучье царство и всякое ее отродье, опутывали постепенно новую Россию, и не по народническому пути она пошла, а по пути острого капиталистического развития. Развитие капитализма, уже на этот раз промышленного, в России идет быстрым темпом, приводя к крайне концентрационной структуре. Капитал вызвал к жизни пролетариат; наиболее левая часть интеллигенции, большею частью бывшие народники, как Плеханов, Аксельрод, или младшая братия бывших народников, как Ульянов Ленин, встрепенулась: „Идет народ, двинулась гора, народ пришел в город, народ организован на фабриках, да еще как—так же, как и в Западной Европе, стало быть, великая западно-европейская, марксистская, пролетарская доктрина и для России хороша"...

Это было отрадное открытие, и интеллигенция очень скоро, развернув свои знамена и имея впереди студенчество 90-х годов, двинулась в пролетариат, однако, не с прежним настроением. Было время в начале 90-х годов, когда все студенчество вибрировало, как будто бы вопрос шел об его жизни и смерти. Разрешалась насущная проблема: развивается капитализм в России или нет, самобытны пути России или они европейские. И, задыхаясь, студенческая масса слушала какой-нибудь диспут Туган-Барановского. Я помню, как по поводу каких то статистических цифр о какой-то там гвоздильной промышленности одная моя знакомая, член нашего тогдашнего гимназического марксистского кружка, пришла ко мне и истерически стала рыдать. Я говорю: „Милочка, что с вами"? „В гвоздильной промышленности никакой концентрации"... Это было весьма смешно, но и весьма трагично: всякий понимал, что если концентрации нет, то капут—азиатский тип развития, т. е. долгий, отсталый путь развития, еще лет на 30—40—бог его знает, насколько лет, с задержкой самодержавия, а если концентрация и превращение кустаря в пролетария—более ускоренный европейский темп развития.

И так, товарищи, вся интеллигенция шла тогда с развернутыми знаменами в пролетариат, и не все студенчество с одинаковой политической подоплекой. Если посмотреть снаружи, то можно было думать, что все—марксисты, все, как один: за дорогие цены на хлеб, за развитие капитала, за рост промышленности, за необходимость сейчас же организовывать рабочий класс. На этой почве различные колебания в первое время развития социал-демократии в России были как будто бы незначительны, но на самом деле они значительнее, чем это кажется на первый взгляд. Тут было два типа интеллигентов: студент массовик к этому времени изменился, он стал менее демократичен,

слой буржуазии стал шире, больше фабрикантов, пароходовладельцев, торговцев, банкиров; появилась зажиревшая интеллигенция: хорошо оплачиваемая профессура, врачи с большой практикой, адвокаты с громкими именами, все они имели детей, их было порядочное количество и не так уже надо было сосать из народных сил. И общее правило: „не пускай в гимназии кухаркиных детей"—означало: берегись в университеты особенно пускать разночинцев, в университете хватит ребят буржуазии и „крупной интеллигенции".

Студент стал заметно зажиточнее, заметно аккуратнее: его удалось, частью строгими мерами, несколько милитализировать с ее синим воротником; он стал внутренне жиже, чем тот косматый студент в широкополой шляпе и с суковатой палкой, который слушал лекцию Граковского в московском увиверситете. Идейная жизнь в московском университете, в показательнейшем из всех остальных, стала отступать на задний план, но за то это был расцвет славы московского университета, как института чисто практического; он расцвел великолепными естественно-научными силами, потому что этот новый студент требовал делового отношения, он был в значительной степени с душком академизма, о революции 70-х годов он перестал думать. К 90 гг. вырос этот новый студенческий тип: он все-таки повалил к пролетариату, потому что без пролетариата свалить самодержавия было нельзя. Студенчество было расслоено на несколько пластов: было чисто деловое студенчество, которое говорило: „бог с вами, с политикой". Среди них есть хорошие практики, иногда из них выходят крупные ученые, хорошие специалисты, это своебразно симпатичная и очень серьезная среда сознательно ли или бессознательно поддающаяся настроению доминирующего строя, как, например, этот графин: налейте в него красного, он будет казаться красным, налейте зеленого—зеленым. Он не интересуется своим политическим содержанием и, пожалуй, не то, что держит нос по ветру—монархия—чорт с ней, коммуна—ладно, а мне операцию надо сделать, или горное дело надо разрабатывать,—он готов мириться, что бы ему не мешали, готов даже помогать, потому что он дело делать любит, дельный человек, это типичный, хороший спец со всей его убогой ограниченностью в области человеческих идеалов, в области настоящего, подлинного человеческого мышления, ибо настоящее подлинное, человеческое, духовная жизнь—есть жизнь политическая, и, как наука, скажем, допускает такое явление, как нравственный идиотизм,—явление для меня немного сомнительное,—так я, воочию, своими глазами убедившись, допускаю также явление политического идиотизма: такой тип в остальных отношениях нормальный человек и может быть прекрасный специалист, но в отношении политическом—идиот.

Был такой слой студенчества, острый как плетка, ходившая по спинам крестьян. У кого папенька был жирнее, с хорошей цепочкой на животе, тот был, главным образом, кадет, у кого папенька был земский врач, радевший за народ и желчно волнующийся, что даже служить крестьянам не дают, тот очень часто делается эсером; между кадетем и эсером отношения были совершенно определенные. Вождь эсеров—Гершуни сказал так: „Если бы вы ввели кадетскую конституцию, то кто из нас был бы такой дурак, что бы стал стрелять по вас, как по диким уткам", а у кадетов вырвалась такая фраза: „Если вы нам не уступите, то они будут стрелять"—вот расделение труда двух близких слоев буржуазии, до тех пор, вплоть до бомбы, пока нет в России удобной для интеллигенции конституции. „Конституцию даешь? Если даешь, тогда мне нечего с тобой разговаривать на таком языке, я немедленно превращаюсь в хорошего западно-европейского демократа, насколько у меня холопских сил хватит".

Но большинство студенчества пошло в социал демократию, к пролетариату: к бомбам пришли потому, что в народ изверились: студент говорил,—на кой чорт бомбу, когда у меня есть пролетарий, этим снарядом я взорву самодержавие. Тут водораздел между студенчеством был такой: небольшая группа студентов пролетарского происхождения или острого ума и сильного сердца, вовлекалась в пролетариат ради этого класса. Она поняла, что он есть спаситель мира, что он будет создателем культуры, что его цель есть единственная цель, ради которой можно жить и умереть; она, трогательно отдавшая все свои силы на служение пролетариату, просила этот великий новый класс, их, отщепенцев буржуазного мира, усыновить, и великий рабочий класс нам такого типа интеллигентов усыновил. (Шумные апплодисменты). Другие студенты субъективно тоже думали, что будут служить пролетариату, но объективно, как показала, потом история, искали, чтобы пролетариат им служил: они специально, определенным образом истолковали марксизм—теория стадий: Россия не доросла пролетарской революции не может быть, может быть только буржуазная революция; в буржуазной революции мы должны быть вождями рабочего класса и должны научить рабочий класс поддерживать буржуазию, быть достаточно храбрыми и активными; а чтобы буржуазия не пугалась, такой

студент—меньшевик, или старший его брат, вождь—меньшевик говорил: подпихивайте в спину репрезантивного Ролзянко или Гучкова, поддерживайте его тихонько за плечи, чтобы он чувствовал, что у него есть опора, но не наступайте ему на пятки: он вас испугается, если вы покажете вашу чумазую пролетарскую физиономию, он испугается, пойдет на союз с самодержавием против нас, а если же вы не будете поддерживать его, он опять испугается, будет трястись и будет только пищать оппозиционные речи. Поддерживайте и не пугайте, это —об'ективная мудрость, это диктуется положением России,—говорили меньшевики, и некоторые, может быть, совершенно искренно в это верили, но на самом деле об'ективно это значило навербовать пролетариев для буржуазной республики. А что потом рисовалось меньшевику? „Потом мы будем в оппозиции, мы будем Бебели, Либкнехты, построим профессиональные союзы". И как вы знаете, жизнь не плохая ждет таких социал-демократов: они притираются к буржуазии, делаются социал патриотами, делаются действительно постоянным орудием закоболения сознания пролетариата во имя „революционного марксизма" интересам буржуазии. Они старались уже тогда превратиться в тот легальный профессиональный аппарат, который есть проклятие человечества, ибо для нас в Западной Европе это ближайший непримиримый враг, и, не расколотив его, мы не можем вести борьбу против самодержавия на Западе. Это есть, частью из пролетариата поднявшаяся, чиновничья, профессиональная и партийная интеллигенция, они держат пролетариат около себя своим прошлым, перетолковывают фразы марксизма в своей прессе и уговаривают рабочий класс не торопиться, ибо когда они гадают по „Капиталу" то выходит, что сроки еще не пришли, и по этому, превращенному в календарные сроки „Капиталу", еще и внукам нашим, может быть, не дождаться того времени, когда рак свиснет, а меньшевик скажет—„начинай революцию". (Смех. Апплодисменты).

Такая формация в России была особенно широка потому, товарищи, что русский интеллигент был зажат между жерновом равнодушия крестьянской массы и жерновом самодержавия, а когда дошло до дела, то выяснилась эта разница рабочей и буржуазной социал-демократии. Каутский писал в 1905 году, что не только русский рабочий героичнее, чем американский и западно европейский, но и счастлив тем, что его поддерживает собственная интеллигенция. У Каутского была иллюзия, он думал, что меньшевики и эссеры поддержат. Когда в 1905 г. разразилась революция, тогда Каутский еще примыкал к большевикам. Какой был спор! Меньшевики говорили, что идет буржуазная революция, ее конец—буржуазная республика, рабочий класс в течение революции поддерживает буржуазию и старается ее не испугать, пред'являет умеренные требования. После окончания революции рабочий класс с меньшевиками во главе занимает левые скамьи нового русского парламента и начинает защищать помаленьку реальные и подлинные свои интересы Анализ большевиков: революция буржуазная, поскольку буржуазия не может больше вмещаться в рамки самодержавия, и не буржуазная, поскольку российская буржуазия трепещет перед пролетариатом и лишена поэтому революционной энергии. Какие же силы проведут революцию? Пролетариат во главе крестьянства. Революция буржуазна, поскольку основой ее будет крестьянская мелкая собственность. Результат—национализация земли и ее парцеляция, расцвет вслед за этим крестьянского хозяйства, но не власть крестьянства непосредственно в стране: оно не может держать власть, оно пропало бы под влиянием попов, эс-эров, либеральных помещиков и т. п. Пролетариат должен явиться для крестьянства классом—братом, который, идя по своему коммунистическому пути, вовлечет его в гражданскую войну, в великую революцию бедных против богатых; при этом он крестьянские интересы постарается не затронуть, всерьез и надолго ввести крестьянскую политику, а от крестьян потребует понимания его коммунистического строительства в городе. Такова была программа большевиков.

Уже тогда было ясно, что если бы дело дошло до окончательного разрыва, то большевики и меньшевики встретились бы друг с другом в высшей степени враждебно.

Пришел 17-ый год. Он показал воочию: в феврале гигантская масса приветствовала революцию, она инстинктивно чувствовала, что это ее буржуазная и мелко-буржуазная, в особенности интеллигентская, революция, что столкнувши старых генералов, старых чиновников со своих плеч, народ выдвинет свои способнейшие силы, новых либералов, эсэров и меньшевиков, и вручит им свою судьбу. Между либералами, меньшевиками и эсэрами никакой борьбы не было. Они слезно плакали: вы либералы, мы,—меньшевики и эсэры будем вас поддерживать, а вы устройте настолько демократический строй, на какой у вас хватит кишки; мы вас не трогаем, у вас будет временное правительство, вы двигайте Милюкова—он мужчина умный, он знает, что делать,—мы вас будем поддерживать: если будет народное восстание,

мы поедем и кишкой нашего красноречия будем заливать эти пожары; вы дайте нам широкую возможность лойяльной политической работы, и мы, либерально-меньшевистская и эсэровская интеллигенция, будем строить новую осторожную интеллигентскую Россию, непременно в полном контакте с другими демократиями, т. е. с Антантой. Если в угоду народу мы рявкнули „мир", то в угоду Антанте сказали— „наступай!".

Это была подлинная буржуазная революция, которой эсэры и меньшевики сразу показали определенное лицо буржуазных подголосков. Когда после апрельских событий выяснилось, что народные волны, смущенные фактом власти империалистов, банкиров, фабрикантов, после их революции начинают прислушиваться к мнению большевиков, что революция должна быть рабоче-крестьянской, тогда буржуазия зовет эту меньшевистскую и эсэровскую интеллигенцию и говорит: „нет, садитесь и вы за стол, давайте разделять ответственность: нас народ не слушает; ну, как я, фабрикант Терещенко, или Коновалов, поеду разговаривать с народом, с рабочими: меня слушать не будут; мне нужен Церетелли, он на каторге сидел, лицо у него благородное, сам герой до последней капли организма. Прекраснейший человек Церетелли, душа у него самая подходящая, потому что он убежден, что мне еще лет 30 царствовать нужно: он мне нужен, главным образом в борьбе с большевистской сволочью, и потому он мне в высшей степени подходящий, что марксизм у него осторожный салонный. Мне нужны такие люди: нужен Чернов с его плакатно-пламенной революционной речью, которая трубит в уши как труба Иерихонская и в конце концов рождает такую мысль, которую можно рассмотреть разве только в микроскоп. (Аплодисменты).

Это до крайности удобные люди, и эти удобные люди кинули в мир прапорщиков, юнкеров, студенчество: „держись крепко, хам идет. Сами черти—рабочие задумали без нас сделать революцию, где это видано?... А все это от того, что банда бессовестных людей с бандитом, с полусумасшедшим экспериментатором Лениным во главе, приехала к нам в пломбированном вагоне, и на-тебе!... Надо их задавить, и сократить".

Задавить и сократить они не сумели, а когда подчас они нас подминали в борьбе под себя, так и тут они проявляли крайнюю степень безволия, боялись народных масс, не умели сделать настоящего поворота. Такое топтание на месте, что если прочитать, что сами меньшевики и эсэры писали, то стыдно будет. Возьмите хотя мою речь в процессе эсэров: и я им показывал, что они писали, как они каждую пятницу или субботу, не знаю уж там, себя секли и оплевывали свою прежнюю политику..

Товарищи, в это время, надо сказать прямо—студенчество совершенно так же, как юнкера, как прапорщики, как эта часть не кадрового офицерства оказалася „опорой порядка". Она была так уверена, что самодержавная курица высидит ее собственное золотое яйцо, что надо защищать эту буржуазную курицу, покуда она не снесется, а проклятые большевики хотят курицу зарезать и яйцо раздавить каблуком, несут хаос и Пугачевщину и неизвестно чего желают. И вместо того, чтобы поддерживать рабочего, интеллигенция вооружилась, пошла рабочего убивать на баррикадах в кровавый день воскресенья в Питере, когда против мировой и победоносной революции, не пролившей ни капли крови, поднялось юнкерское восстание, когда пришлось рабочему классу и солдатам бороться почти исключительно с интеллигенцией, со студенчеством. Эсэровская учредилка, где могла, где-нибудь в Челябинске,—везде поднимала красный флаг, под который спрятан был генерал со своими офицерами, и кончалось так, что если этого генерала не били, то он сам эсэров арестовывал. Позорная, бесхарактерная, преступная, изменническая тактика, которой обагрила себя интеллигенция! И это было тяжелым ударом по революции. Как же без интеллигенции пролетариат будет строить свой строй, когда у него своей интеллигенции почти нет, когда приходится брать худшего спеца, так как лучший не идет, а идет такой, который может продаться кому угодно... Так пришлось строить коммунистический строй: наверху коммунисты, неопытные в государственном строительстве, дальше преданный пролетариат, который не знает как за дело взяться, который от молота и от плуга, и, высунув язык едва может сделать свою подпись, которому надо быть губернатором, а дальше в деревне наихудшая часть—авантюристы, чиновники, люди, которые сюда пристали, почуяв, что жареным пахнет... Вот с каким материалом приходилось дело делать нам, а там, по другую сторону, самая способная интеллигенция, которая ничего не могла сделать, кроме развала, распада, гниения, потому что у нее костяка не было, не было хребта, потому что интеллигенция держится либо вокруг буржуазии, либо вокруг пролетариата, Буржуазия лопнула, а от пролетариата отошли, потому что загнили, заплесневели, и колоссальное количество прекрасных умственных сил было засосано на стороне белогвардейских республик и бело-

гвардейской эмигрантщины... В поте лица своего, с гигантским напряжением сил строила РКП свою новую Россию сначала в военной обстановке, не останавливаясь, чтобы сокрушить буржуазию, сломить самую торговлю и промышленность, хотя бы силой взять у крестьян хлеб, что бы армию не распускать, чтобы железные дороги не остановились. Когда нужен был террор, его пускали в ход, потому что нашей многострадальной чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией не пустить его в ход—значило не только погубить себя, но и то знамя, которое так высоко было поднято.

И в этой трагической борьбе создавали из крестьянских ребят, нежелавших воевать, могучую красную армию, привлекая в качестве командира кадрового офицера, готового в каждую минуту продать эту армию. И наш культурный центр был плох, неуклюж был, били нас, масса было изьянов, масса уродств, шероховатостей. И кое-кто из интеллигенции хихикал в углах: „Как же им с этим справиться?"—и хихиканье постепенно превращалось в гримасу растерянности, когда увидели, что в конце концов справляться начали, когда суровая борьба, непосредственная борьба за жизнь новой революционной власти, нового революционного порядка схлынула, когда мы могли начать планомерное строительство. Мы вышли на верную марксистскую дорогу, не военного коммунизма, а того, что называется новой экономической политикой, создание против частного капитализма государственного пролетарского капитализма, сохраняющего вершины производства и контроль над рынком, смычку с крестьянством, государственной и внешней торговли. По мере того, как подходили к этой задаче строительства всей экономической жизни и культуры,—поднялся вопль из пролетарской груди:—дайте нам интеллигенцию, без нее нельзя, как без цемента нельзя строить здание, так нельзя строить государственное здание без интеллигенции, без специалистов не только пропаганды, агитации—но специалистов по всем отраслям научного и технического труда, по всем отраслям общественной жизни... И начался двойной процесс: старая интеллигенция медленно и постепенно в лучших своих элементах начала сменять вехи. Процесс этот и внутренний смысл его я здесь докладывать не буду; вы, вероятно, знаете—они рассуждали так: никакой другой власти, кроме советской, в России не будет, советская власть Россию, как державу, сохранила, она предоставляет широчайшие перспективы культурно-экономического строительства народной жизни,—надо к ней итти и ей помогать, хотя бы не ради иллюзорного, (как думают сменовеховцы), коммунизма, а пока что она творит возрождение России. И в то время, как такой сдвиг начал выражаться и в студенчестве, явление это было подхлестнуто, было подхвачено студенчеством. Слишком долго интеллигенция не шла навстречу пролетариату, и наспех, быть может, но с плебейской прочностью начали мы создавать свою собственную, мы стали черпать из пролетариата и из крестьянства как будто бы неотесанных молодых людей, как будто бы совсем далеких от университетской науки, и по правде сказать, до сих пор еще не сумели их поставить в такое положение, чтобы они были сыты, освещены, отоплены, одеты. Какие страшные муки какие страшные жертвы положены были первыми рабфаковцами в этом отношении, какой научной кухней являлось тогдашнее общежитие, когда этот холодный, разутый рабочий парень сидел над книгой по 7 человек при тусклой лампе и целую ночь приходил в отчаяние: „Ничего не пойму"! когда мы туда посылали людей с двумя орденами красного знамени, которые приходили и говорили: „Я живу хуже, чем в арестантских ротах, где же мне понять... Что же вы издеваетесь надо мной?"...

Таковы были факты, так брели товарищи в этом болоте, когда нужно было забить первые сваи новой интеллигенции.

И забили чисто: костями, мускулами самоотверженных передовиков из пролетариата и крестьянства, которые сюда пошли. Забили, и мост построили, и в Вузы проникли, и жизнь новую, действительно, народную в них внесли. И тот оставшийся студент, который перед тем готов был слушать пропаганду меньшевиков и эсэров, слишком открещивался от политики, который помнил нанесенные его семье обиды, разницу прежней и новой жизни, который ничего не понимал в кострах и пожарах революционного строительства новой России, будируемый жизнью, сдвинулся и теперь на каждой демонстрации мы видим тысячи отзывчивых энтузиастических молодых людей. И что может быть более отрадно? Мы в Петрограде, мы в Москве почти совсем перестали различать, где рабфаковцы, где первый и второй курсы, собранные по социальному признаку, где здесь старые студенты. Перестали различать и границы, ибо из старого и нового спаивается новая народная рабоче-крестьянская интеллигенция. И из-за границы раздаются робкие голоса: „Возвращайтесь в Россию, эмигранты, а то вернетесь слишком поздно, и не окажется места". И огромное большинство их нам не будет нужно. Мы из собственной среды создаем и уже создали интеллигенцию, которая по страданиям, пережитым в молодости, по испытаниям и постам, которые занимала, по гигантскому

своему житейскому опыту, внутренней закалке, готова по выражению Троцкого, грызть гранит науки молодыми зубами. Раскрылись народные родники, дали возможность из самых глубин подняться жаждущим знания Это для нас тоже важно, еще важнее, чем на поверхность выбросить кузнецкий уголь или курское железо,— лучше, драгоценнее всякого угля и железа эти пласты, которые лежали глубоко потерянными для культурной работы и которые теперь революцией вызваны к жизни и творчеству.

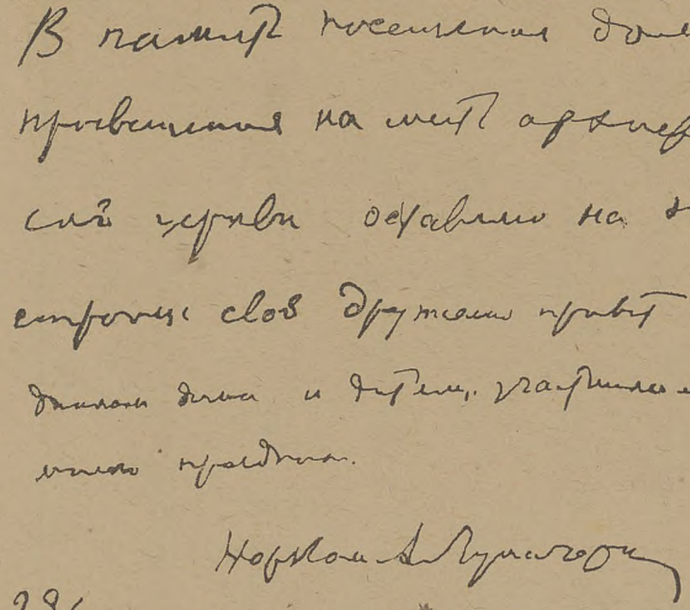
И если ясна политическая роль этого студенчества, то остановлюсь на экономическом значении нового студенчества. На самом деле, как необ'ятно мы богаты, сколько великих возможностей под нашими ногами и вокруг нас и как удручающе мы бедны, как мы невежественны, как мы растеряны, не приспособлены и как необходима была эта железная террористическая закалка 25 лет копавшейся в подземелье РКП (бурные апплодисменты), чтобы мягкотелую Россию, крестьянскую, деревенскую, не спаянную интеллигентскую, обломовскую, слюнтяйскую, меньшевистскую не растащили бы на клочья... Но ее не растащили. И меняется русский человек, меняется на глазах наших. Увидим мы, как из недр народных будут выходить новые пионеры, которые пойдут в пустыри российские: самые ловкие ремесленники, на все руки мастера, приспособленные завоеватели собственной своей родины, такие пионерские отряды, такие люди находчивости, смышленности, которым завидует американский Дальний Запад. Но мы и на этом не остановимся. Нам нужен не только друг топор и сестра пила, но нам нужна машина, без нее мы жить не можем. Если мы не мобилизуем наших топливных богатств, не осветим центра, не разошлем по радиусам электрическую энергию на помощь рабочему и крестьянину, мы будем всегда бедны: на мускулах русского человека сделать страну богатой нельзя. Вопрос об электрофикации, машинизации—не только вопрос коммунизма, но и вопрос достойный жизни человека. Страшная проблема встает: как изловчиться, чтобы взять этот капитал, как сделать так, чтобы не заглохла тяжелая индустрия, каким образом бороться с темным невежеством... Но никто из нас не приходит в отчаяние! И когда мы перебираем светлые пункты на нашем горизонте, ярче, чем какой бы то ни было другой, горит маяк создающейся новой интеллигенции. Как было скорбно, как было страшно нам, строителям новой России, приходить в такие аудитории, видеть молодые студенческие лица равнодушными, тупыми, замкнутыми, враждебными, готовыми превратиться в гримасу бешенства, и чувствовать, что будто бы молодая Россия против нас и у нас стало быть нет корней. И как вольно теперь дышит наша грудь, когда мы знаем, что такое русское студенчество, когда, приходя к вам, мы встречаем наших детей, наших молодых братьев, наших продолжателей, когда говорим гордо всему миру: вы придите на наши митинги, где участвует масса, и посмотрите, как встречает темный рабочий завод агитатора-коммуниста! Вы почувствуете как деревня прислушивается, как деревня откликается на призыв новой власти,—вы полюбуйтесь нашей новой молодежью: ей трудно живется и трудно дается наука, но не три, а тридцать три, триста тридцать три тысячи богатырей выкинул океан народной жизни. (Бурные апплодисменты).

Товарищи, в день 13 мая простая крестьянка Викторова на с'езде советов сказала: „У нас теперь у всех большевистский закал, мы ничего не боимся". Это верно, товарищи, никаких трудностей: ни внешних нападений, ни сложности внутренних проблемм мы не боимся: в вас, в молодежи, мы это чувствуем, силушка по жилушкам переливается, просто работать хочется, чешутся руки, зудит в плечах, чтобы ломать громадную мировую работу по под'ему России, которая стоит одной ногой в Европе, а другой в Азии, которая одна из всех стран может зычным, мощным голосом вызвать к человечеству передовых фабричных центров и колоний. И, товарищи, мы действительно не побоимся ничего: дело, которое мы делаем, мы закончим, мы великие завоеватели. Русский пролетариат завоевал себе свободу, русский пролетариат завоевал себе власть, завоевал себе право быть самостоятельным в трех летней страшной гражданской и внешней войне,—русский пролетариат с его авангардом РКП завоевал теперь себе русскую молодежь, а кто ее себе завоевал—тот не победим.

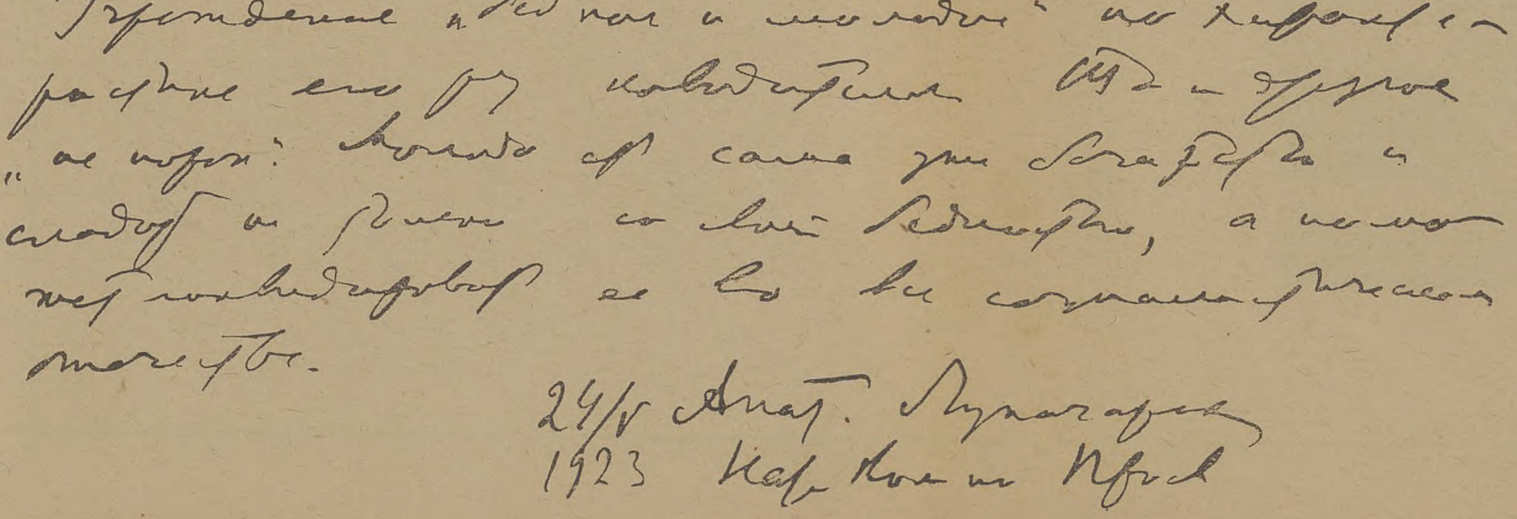
(Гром апплодисментов. Оркестр и хор исполняют „Интернационал").

Автографы Народного Комиссара Просвещения в книге посещений Томского Педагогического Техникума и Дома Просвещения.

А В Луначарский среди руководителей и слушателей Томского Педагогического Техникума.



Автограф: „В память посещения Дома Просвещения на месте архиерейской церкви оставляю на этой странице свой дружеский привет сотрудникам Дома и детям, участникам моего праздника.
Нарком А. Луначарский".



Автограф: „Учреждение „бедное и молодое" по характеристике его руководителя. То и другое „не порок". Молодость сама уже богатство и сладит не только со своей бедностью, а поможет ликвидировать ее во всем социалистическом отечестве.
Анат. Луначарский. Нарком Прсвв."

Партшкола — основная школа молодежи союза сов. соц. республик. В ней она учится осуществлять диктатуру пролетариата. Но нужно нечеловечески работать, чтобы быть достойным учеником подобной школы.

Нар. ком. А. Луначарский

25/V
1923 г

Автограф: „Партшкола—основная школа молодежи Союза Сов. Соц. Республик. В ней она учится осуществлять диктатуру пролетариата. Но нужно нечеловечески работать, чтобы быть достойным учеником подобной школы. Нар. Ком. А. Луначарский".

А. В Луначарский среди партшкольцев.

Общегородское собрание Томской городской организации РКП по случаю приезда наркома по просвещению т. Луначарского.

24 МАЯ 1923 ГОДА.

(Появление т. Луначарского собрание встречает бурными аплодисментами). Товарищи! Задачи российской коммунистической партии во всякий исторический момент были грандиозны с того самого дня, как возникла социал-демократическая рабочая партия, с того дня, как из ее общих рядов вышла фракция большевиков, с того дня, наконец, когда эта фракция взяла в свои руки судьбу великой российской революции. Но, по мере развития исторических событий, задачи российской коммунистической партии непрерывно растут и усложняются.

Мы можем сказать с прочной уверенностью, что никогда еще история человечества не знала партии, которая, с одной стороны, брала на себя такие исторические обширные задачи и, с другой стороны, по своим силам, в такой мере соответствовала-бы этим титаническим задачам. Пусть каждый из здесь присутствующих членов нашей партии осознает, какие гигантские обязанности лежат на нем, как на сочлене этого изумительного, единственного в мире единства. В самом деле: когда российская коммунистическая партия в середине гражданской войны увидела, что социал-демократическая партия, что рабочий партии мира, что Второй Интернационал, Интернационал профессиональных союзов в гораздо более значительном большинстве, чем мы это предполагали, проникнут гнуснейшим оппортунизмом; когда мы увидели, что рабочие партии, те самые об'единения, которые казались армией труда, готовой войти в царство социализма, на глазах наших превратились в агентуру буржуазии, доставившую каждому правительству социал-демократическое пролетарское пушечное мясо на его потребу,—в тот момент большевики, будущие коммунисты, поняли, что их роль, оставалась глубоко стратегической, внутренней, единой, разветвляется тем не менее на работу в России по уничтожению самодержавия и использованию грядущей последней демократической революции в Европе, великого процесса—низвержения самодержавия в интересах возможно большего продвижения рабочего класса к диктатуре в России, и, с другой стороны, на задачу неуклонной борьбы за международное рабочее движение, за спасение рабочего знамени, за противопоставление подлинного марксизма всему тому вырождению, всему тому предательству, которое накопилось не на правом уже только фланге нашей общей армии,—как это было во времена Бронштейна,—а и в центре трех четвертей всего тогдашнего рабочего фронта. Уже во времена Циммервальда и Квинталя основной центр РКП, и прежде всего Владимир Ильич Ленин, работал в обоих этих направлениях—подготовить революцию в России, убедить русских социалистически мыслящих рабочих, а потом русскую рабочую и, по возможности, крестьянскую и солдатскую массу, что ее прямая обязанность, не боясь обвинения в пораженчестве, начать революционную борьбу со своим собственным правительством, идти в этой войне так далеко, как только можно, бесжалостно дезорганизовать свое правительство, саботировать свою армию, саботировать все надежды Милюковых на какую бы то ни было победу, рискнуть великим поражением и развалом для того, чтобы хотя среди хаоса отечественных бед-

ствий суметь взять в свои руки кормило правления и возможно выше поднять красное знамя, ибо таков, по мнению коммунистов, был долг каждого социалиста в каждой стране использовать удобные условия для того, чтобы начать сплочение нашей собственной великой державы, и против ориентации германской или ориентации английской выставить ориентацию труда

Владимир Ильич, как и все его сподвижники, прекрасно понимал, что если даже этот грандиозный план революционного движения в недрах сражающейся страны будет выполнен, то мы не только еще не будем победителями, а окажемся среди безвыходных затруднений, окажемся правительством страны раззоренной, голодной, невежественной, искони капиталистически не высоко развитой, чрезвычайно далекой по своим возможностям от какого бы то ни было коммунизма. Но, не боясь этого, программа такой революции в России твердо установилась, как программа самостоятельной пролетарской революции против самодержавия, помещиков и буржуазии, с опорой на крестьянство во имя организации рабоче-крестьянской советской республики и затем самым тщательным, преданным трудом, хотя бы чреватым ошибками и страданием, но упорным трудом по продвижению в России хозяйства и культуры. Это была наша национальная рабочая программа. Эта национальная рабочая программа совершенно совпадала с той международной программой, которую в Квинтале и Циммервальде развили тогда коммунисты, те большевики, которые должны были через несколько месяцев назваться коммунистами Там они заняли левые позиции даже по сравнению с вообще сравнительно небольшой группой социалистов-интернационалистов. Левизна позиции заключалась в проповеди такого же пораженчества для всех стран... „Не бойтесь переплета буржуазных сил: в какое бы поражение не ввела война каждого против своего капитала, против своего правительства, не бойтесь того, что меньшевики еще сплотили вокруг себя большинство рабочих, уверенно в хаосе, поднятым войной, идите как можно дальше, штурмуйте твердыни буржуазного порядка повсюду; каждая страна, которая сумеет у себя провести социалистический строй, каждая партия, которая сумеет превратиться в правительство, должна рассматривать себя как оружие международного пролетариата, превратить себя в главный корпус этого общего мирового штурма“...

Таким образом, национальная программа, которую надо было выполнить в России, и международная программа перекрещивались и отнюдь друг другу не противоречили. Но это, товарищи, было не все. Дело в том, что Владимир Ильич. в ряде блестящих статей, обратил внимание на то обстоятельство, что империалистская буржуазия потому именно и смогла создать в лице меньшевиков своих более или менее активных и успешных приказчиков, потому и смогла не только парализовать революционное движение рабочих, направленное против капитала, но даже использовать рабочих в качестве своей военной силы во внутренней распре различных буржуазных банд, что империализм означает собою, в самом существе своем, гигантскую систему эксплоатации вне европейской рабочей силы. В том то и дело, что империалистский период капитализма характеризуется, как систематическая наглая эксплоатация сотен миллионов азиатских, американских и других народов, и на почве этой эксплоатации, на почве разделения рода человеческого на, так называемые, цивилизованные страны и страны варварские и дикие. Капитал создал солидарность между собою и квалифицированными рабочими в каждой стране, ставя их в привиллегированное положение и делясь с ними гигантскими доходами, которые он получал от эксплоатации колоний. Те страны, которые колоний наглотались, уже могли проводить эту политику; те страны, которые их имели еще не достаточно, страстно старались их иметь, видя, что

иначе удержать гегемонию капитала внутри какой бы то ни было страны нельзя. И отсюда Владимир Ильич сделал вывод что вопрос интернациональный, что освобождение рабочего класса в Европе немыслимо без параллельного освобождения порабощенных и полупорабощенных наций, что процесс демократической революции, которая через Россию перебросится в Азию, смывая там более или менее начисто остатки феодализма, что он, совпадая с революцией пролетариата, только и в состоянии сделать тот сплав, тот об'единенный поток непобедимых революционных энергий, против которых никакие последние судороги капитализма не могут устоять.

Таким образом, товарищи, три задачи вырисовались перед партиэй еще, так сказать, до рождения названия РКП. Партия брала на себя стать правительством раззоренной России, вывыести ее из этого раззорения, сделать ее могучей рабоче-крестьянской державой и, вместе с тем, главным мечем в руках международного пролетариата,—это одна титаническая задача. Во-вторых: сделаться кристаллом, вокруг которого могли бы об'единиться все левые силы западно-европейского и американского рабочего класса, создать из них оплот против меньшевизма, создать новый штаб, вокруг которого можно было бы собрать единый рабочий фронт, выкинув из нее правых и центральных дурных пастырей, научить эту новую, освобождающуюся из-под вредного обояния старых вождей, революционную массу к той стремительной аттакующей и, вместе с тем, чутко-осторожной научной тактике, которая соответствует марксисткому воззрению на социальные явления и которая должна сделаться основой победоносной стратегией пролетариата,—вторая гигантская задача...

Третья задача: способствовать возникновению освободительного движения на Востоке, создать гигантское волнение бедноты, не пролетариата на этот раз, использовать для него восточный национализм и ненависть к европейскому капиталу, уверить бедноту угнетенных наций, что пролетариат является для них другом, сделаться авангардом и штабом для сотен миллионов людей, еще погруженных в средневековье, или кочевое, примитивное, дикарское пожалуй, бытие, спасти и всех от чистилища капитализма, взяв их на буксир пролетариата и социальной революции, и осторожно, не насилуя их, воспитывая их, жертвуя иногда собою для них, вести их за собою в фарватер социалистического развития,—третья гигантская задача...

Подумайте, товарищи, как должен был бы быть человек и что такое перед ним какой-нибудь маленький Петр Великий,—кем должен был быть человек, который, сидя в Женевском кабинете, мог начертать такую программу: взять власть в царской России, опрокинув по пути буржуазию и меньшевиков, взять раззоренную, главным образом, крестьянскую страну, сплотить в ней рабочие и крестьянские массы, гармонировать их интересы, разбить сопротивление кулаков, враждебных массе, аннулировать эсэров, буржуазные партии, вступить в бой с страшной контр-революцией и со всем миром, если там запоздает война, и спасти эту страну, поставить ее на ноги, сделать ее оплотом мировой революции. Один такой план более сумасшедший, чем любой план сумасшествия, по своей революционной храбрости, -а это менее одной трети всей программы. Вторая программа—разбить Второй Интернационал бесжалостно, создать 3-ий Интернационал, хотя бы из маленьких ячеек истинных марксистов, исходя отсюда завоевать единый рабочий фронт, стать во главе его нам, партии наиболее отсталого пролетариата, сделаться его водителем, его учителем, поселить в Москве не только кремлевское правительство, не только Совет Народных Коммиссаров, ЦИК, но еще и 3-ий Интернационал, ведущий борьбу в мировом масштабе, и отсюда повести борьбу сквозь половинчатый меньшевизм, парализуя его яды, против власти капитала во всем

мире. И это все-таки не все: Задача—поднять спящее азиатское человечество, сделать так, чтобы эти гигантские реки человеческие были водою на нашей мельнице, связать в одну систему процесс освобождения нации и процесс освобождения пролетарского класса. И если должен был быть великим человек, который эти проблемы видел, который такие задачи ставил, то не могла не быть великой и та партия, которая человека этого выдвинула и которая человека этого считала способным провести подобный гигантский общественный сдвиг. (Апплодисменты).

Теперь, товарищи, минуем все промежуточные стадии и перейдем прямо к современному моменту. Что же у нас вышло на всех трех наших путях, в каком положении находится теперь РКП, насколько она выполнила свои задания и что остается у нее невыполненным? РКП сделалась правящей партией в России, РКП, разложив царскую армию, создала новую геройскую красную армию. Она создала ее из крестьянских ребят, не желавших воевать, при помощи кадрового офицера, который относился к нам, как враг и изменник; она создала эту красную армию, возбудив сперва энтузиазм рабочих, отдавши несчетное количество коммунистической крови на ее спайку; она создала ее, заразив всю эту крестьянскую массу своим под'емом, и она сумела через красную армию, в ряде сменяющихся поражений и побед, одержать столь великие революционные военные победы, что перед ними меркнут почти сказочные успехи синей армии, когда-то ознаменовавшей славу великой французской революции. Разрушивши старое государство от министра до городового, она создала совершенно новый, гибкий государственный порядок, соединяющий в себе максимальный демократизм, вызвавший к государственной жизни с самого дна значительные силы рабочих и крестьян, с величайшей степенью централизации и диктаторской решимостью. Она сумела размозжить всех своих конкурентов; она сумела, несмотря на необходимость, в течение военного времени вести жестокую антикрестьянскую продовольственную политику, во время помириться с крестьянством, провести смычку с ним, до глубины души понять, как важна эта опора для крестьянства, сделаться настоящим опекуном еще незрелого политически крестьянства и завоевать в крестьянской массе ныне все более неудержимо растущую волну симпатий к себе; она сумела контр-революционную, расстроенную буржуазию почти совершенно выгнать из жизни, не останавливаясь перед разгромом русского торгового и промышленного аппарата, и она сумела, после того, как буржуазия была разбита, не давая ей ни капли политического авторитета, вернуться на путь правильного развития экономической политики, снова развернуть торговлю, вновь дать дышать промышленности. Оставив за собою командные высоты и контроль, она сумела проучить интеллигенцию, которая вздумала, что она есть соль земли и что ей принадлежит диктатура по соглашению с буржуазией, проучить ее и указать ей свое место,— но она же сумела затем в нужный момент, когда интеллигенция, наконец, открыла глаза на подлинные желания и подлинные силы руководимого этой партией пролетариата, привлечь ее к себе, дать ей законное и важное место в общем развитии России; она же сумела выдвинуть в эти последние годы громадный свежий кадр новой пролетарской и крестьянской интеллигенции. И если нельзя еще сказать, что Россия в хозяйственном отношении приведена в цветущее состояние, если нельзя сказать, что дело борьбы с невежеством, дело под'ема культуры в стране идет по твердой дороге, то зато уже только совершенно беспардонный скептик, только человек, нарочно закрывающий глаза, не видит, что мы в пути к этому и что каждый месяц приносит с собой улучшение.

Смена вех... Да, вехи в последнее время сменяются всеми вплоть до русского духовенства: даже духовенство, и то за-

явило: „делаете благое дело—и мы будем молиться господу богу о даровании великой России и мудрому ведущему ее правительству всяческих удач“ (Смех. Апплодисменты).

Конечно, товарищи, и среди духовенства, и среди профессуры, и среди буржуазных торговцев, и среди всех этих людей, которые меняют сейчас свою окраску, есть очень много хамелеонов, делающих это не из внутреннего побуждения, а потому, что сила солому ломит, и никто не виноват, что мы сильны, а они соломенные люди сменили вехи, а очень много людей настоящих и даже металлических, которые боролись с нами подчас со всей энергией и самоотверженностью. Смена всех разнообразна, но смысл ее один: все великое море народов, населяющих союз советских республик, сплачивается вокруг этой стальной оси, вокруг РКП, и вы теперь можете встретить массовые собрания, где мы коммунисты, составляем ничтожное меньшинство, собрания, которые проходят так, как будто бы они сплошь коммунистические. И та фраза, которую беспартийный тов. Белозеров здесь произнес, она искренно, от души, произносится сейчас, вероятно, подавляющим большинством граждан России: „если мы не коммунисты, то во всяком случае пристяжка, которая не изменит“. Да, при таком кореннике и такой пристяжке можно ехать не плохо. (Бурные апплодисменты)

Товарищи, я вчера имел беседу с томской профессурой, и тут было несколько показательных явлений, несколько показательных слов было произнесено. Например, один профессор в смущении развел руками и сказал: „я теперь не знаю, коммунист я, или нет“ (Смех). Человек, конечно, сознательный, но почему он этого не знает, что он спрашивает себя: хочу я чтобы на свете был коммунизм, а не капитализм? И отвечает так: „это было бы хорошо!“ Но раньше думал так: хорошо-то хорошо, да быть этого не может, и поэтому если пойдут по этому пути, то, кроме беды, ничего не жди... Мало ли что хорошо! Хорошо, чтобы жареные рябчики летали в тарелку, так ведь нельзя, это утопия! А теперь начинает думать—чорт его знает, может быть, это и не утопия... Вот почему он не знал—коммунист он, или нет.

Другой профессор бросил нам упрек такого рода. Я сказал в своей речи, что профессура сменяет вехи и приближается к нам, увидевши, что мы, во-первых, сила, а во-вторых, сила, желающая блага, что у нас с ними, даже если они не являются нисколько коммунистами, есть общая программа минимум Профессор бросил упрек такого рода: мы, говорит, всегда были были за это, это вы нас не хотели .. Дело, конечно, не в упреке, дело в том, что они забыли, с какими проклятиями они к нам относились, какими они считали нас безумными обманщиками, преступниками. И когда мы теперь говорим: ну, товарищ профессор, давайте руку, работайте вместе с нами,—он говорит: я всегда этого хотел, вы не принимали моей руки, которая все время висела в воздухе. Вы ее не принимали“. Так что и эти, так сказать, как будто бы скептические ответы профессуры рисуют как нельзя более рельефно, насколько эти вехи подвинуты.

Все это в России нам удалось сделать, и это уже так много, что отчаиваться или сомневаться в том, сделаем ли мы остальное, т. е. спасем ли мы, наладим ли мы тяжелую индустрию, увеличим ли урожайность крестьянского поля, будем ли бросать дешевый хлеб, дешевый лен, дешевое дерево на европейский рынок и в обмен на это закупать нужное, сможем ли мы обратить внимание на электрофикацию, машинизируем ли мы нашу страну, разовьем ли мы широчайшую школьную сеть с трудовым практическим уклоном по всей стрине,—скептически относиться к тому, что мы все это выполним, не годится. И даже, думаю я, когда мы говорим, что на это понадобятся 10-20-30 лет, мы, может быть ошибаемся. Таким темпом эта свежая Россия, эта страна, с одной сторо-

ны, варварская, по свежести сил, а с другой стороны уже смогшая иметь авангард, освещенный последним словом науки марксизма, с такой быстротой выростает она и прогрессирует, что срок окажется, может быть, тем короче, чем даже мы ожидаем. (Аплодисменты).

Почему нужна партия? Почему мы не согласны с левой рабочей партией Германии, что можно строить прямо на профсоюзах, прямо на советах? Потому что партия есть авангард и потому, что в партию, по мнению Владимира Ильича, должны войти самые зоркие, самые преданные, самые самоотверженные, самые честные, самые талантливые: это отбор, это великий отбор, и каждый, кто принадлежит к партии, которая в труде, в борьбе, в страданиях, в испытании каждого человека, путем перекрестных проверок, создается, проверяется и утверждается, каждый такой человек должен быть непомерно горд, потому что нет выше чести на свете, как быть членом РКП. (Гром аплодисментов).

Товарищи, поэтому мы требовали от европейских партий, чтобы они были чисты. Например, наши европейские товарищи усвоили эту тактику, тактику раскола и чистоты. И каково было их удивление, как Владимир Ильич сказал им: „ну теперь завоевывайте единый фронт, если даже для этого придется разговаривать с меньшевиками, договариваться с ними об общих действиях". Это ничего... Как ничего? Я помню—тов. Бордига, умнейший человек, был совершенно выбит из седла: „Ленин противоречит сам себе",—восклицал он. Та практика, которую каждый из нас прошел, им была недоступна, их надо было учить чистить, как РКП, как штаб и завоевания масс. Если мы коммунистическую партию снизу распустим, разбавим теплой водой, мы этим самым уничтожаем централизующую силу социальной революции; если мы в ней замкнемся, не будем выходить из нее, чтобы завоевать профсоюзы, если мы не сумеем сидеть с меньшевиком там, где он в большинстве, что бы его взорвать изнутри, если не сумеем поставить его на „правеж", чтобы он или отказался от симпатий рабочей партии, или прямо заявил какой он оппортунист, или бы пошел с нами на аркане,—то мы в таком случае еще не умеем быть революционерами. Рабочий класс без коммунистической партии—обезглавленное тело, коммунистическая партия без рабочего класса—голова без тела. Я не знаю, что хуже.

И мы должны были научить их: привлечь светлую, ясную голову, завоевать себе могучее тело. Эта тактика теперь усвоена, эта тактика движется теперь вперед, коммунистический интернационал растет, растет не только заключая в свои ряды новых коммунистов, но и приобретая огромное влияние в духе лозунга единого фронта. В этом отношении сделано так много, что хотя мы не можем еще говорить о часе будто бы готовом пробить для того, что бы начался последний решительный бой, мы все же можем сказать, что в Европе и в Америке позиция коммунизма есть позиция растущая, позиция грозная, заставляющая одно европейское правительство за другим отходить от тактики отравленного медового пряника меньшевистских обещаний и сменять ее практикой фашистского порядка, которая есть последняя тактика буржуазии, свидетельствующая о приступе отчаяния, о понимании того положения, что рабочих долго обманывать даже марксизмом, помазанным меньшевизмом, нельзя, что приходит время прямой борьбы. Из этого правительство делает вывод: лучше раньше, чем позже! Лучше борьба за разрушение рабочего класса, пока он не вырос! Фашизм—припадок отчаяния буржуазии, и мы, наблюдая эти судороги, нисколько не приходим в ужас. Мы знаем, что в судорогах этих могут погибнуть отдельные наши товарищи, как погиб доблестный Вацлав Воровский, но рабочий класс уничтожить путем фашизма нельзя и можно только скомпрометировать себя в глазах самых глу-

боких масс, толкнуть массы к нам и подписать себе этим смертный приговор. (Апплодисменты).

Товарищи, линия третьей задачи На нашем 12-м с'езде, который так много времени посвятил хозяйственным вопросам, в порядке разрешения вопросов первой линии вдруг выплыл, как будто бы внутренний российский политический вопрос, вопрос об отношении к национальным меньшинствам, к национальности, национальным республикам, находящимся на территории союза социалистических советских республик. Раздавались голоса: «Зачем раздувать вопрос. Он не так велик, не так важен: классовый вопрос впереди национального, не заставляйте много говорить об этом, даже у коммунистов отдельных национальностей есть свой специфический душок, даже у российских коммунистов есть некоторая доля русотянства и давайте об этом лучше не говорить. Зачем говорить о вещах, которые приведут нас к скользким взаимооб'яснениям".

На 12-м с'езде было не мало явлений, которые, пожалуй, говорили: лучше бы об этом не говорить. Это, конечно, пустяки, полемическое развлечение, маленький турнирчик между людьми, стоящими лишь в деталях на разных точках зрения и могущих единогласно принять определенную и мудрую резолюцию. Никаких расколов ни по каким линиям и в том числе национальной у нас, конечно, нет и не будет, а вопрос этот—вопрос гигантской важности, это вопрос нашего успеха по 3-ей линии, намеченной гением Ильича, угадавшим пути мировой истории, по линии концентрации вокруг нас сил восстающей Азии. Если мы не сумеем создать единой семьи народов у себя в СССР, то это будет значить, что мы закрываем ворота и что к нам не пойдут для того, чтобы учиться у нас и поддерживать нас. Сотни миллионов народов Турции, Персии, Афганистана, 350 миллионов индусов, 700 миллионов китайцев,—это цифры, перед которыми бледнеют европейские цифры, это целое человечество, которое стоит на пороге того, чтобы ожить, которое видит перед собою с одной звериную морду пушечного империализма и готово удариться в чистый национализм, а с другой—Москву слышит биение его красного сердца, рассказывает сказки о победе бедных в России, рассказывает сказки о том, что белого царя сменил великий Ленин, друг всех народов, прислушивается к этому и думает: „Не нашли мы руководителей, покровителей, защитников, передовые силы, которые передовитостью своей пользуются не для того, что бы сесть нам на шею, а чтобы нас освободить и братски нами руководить ради наших собственных интересов"..

Решения 12-го с'езда не только как литературная резолюция, а поскольку они будут претворяться в жизнь, послужат громадной помощью в том деле, которое началось в Баку, продолжилось с'ездом народов Востока и коммунистических партий в Москве, которое продолжается в постоянно, неуклонно, которое выводит из себя Керзона,—они будут помощью великому делу пробуждения Востока, без которого пролетарское движение скоро победить не может... Я помню, как приехал ко мне один правый, но очень умный немецкий профессор; он хотел осмотреть разные достопримечательности Москвы, и я ему, между прочим, сказал: поезжайте посмотреть университет народов Востока

— Это что такое?

— А вот, говорю, поезжайте, посмотрите и расспросите, что они там делают, а потом скажите мне, какое это произвело на вас впечатление.

Он действительно потом приехал и говорит:

Впечатление сильнейшее... Ведь это, говорит, как папа римский готовил миссионеров, чтобы нести христианство во все концы земли, так вы готовите миссионеров коммунизма. (Апплодисменты).

— Я видел бурят, персов, калмыков, корейцев, индусов— и все они слушали лекции по марксизму, все считают себя марксистами, все говорят на разных языках и все на одном политическом языке, все горят таким стремлением поскорее понести зажженную в Москве свечу к себе в темный угол и не только для того, чтобы светить, а чтобы там поджигать. (Апплодисменты).

Не знаю, с удовольствием-ли говорил немец,—вряд ли, с удовольствием: ничего немецкого там теперь не подожжешь (смех), но во всяком случае, говорил с величайшим энтузиазмом и увлечением.

Вот это дело делаем мы неуклонно и тоже продвинули его налево вперед: нет азиатской страны вплоть до Тибета, где бы не было или коммунистической ячейки, или твердой связи. Вот это мы можем констатировать, как выполнение части задания процентов этак где на 20, где на 30, и незачем утомлять ваше внимание вычислением тех 70—80 %, которые осталось доделать. Вы знаете, когда скажем мы, что 100 % работы сделано!... Тогда, когда соберется первый с'езд советских республик земного шара. (Шумные апплодисменты).

Но, товарищи, посмотрите же на эту партию, в которой меньше полмиллиона членов, где преобладают рабочие и крестьяне, люди с малой научной подготовкой, люди, часто больше чувствующие марксизм, чем его понимающие, с очень небольшой кучкой интеллигенции, правда, ковавшейся вместе с рабочими 25 лет в тюрьмах, в каторгах, в подпольях революционной борьбы с царизмом,—посмотрите на эту партию с ее необычайным единством... Какой там раскол! Смешно говорить о наших разногласиях!.. Если мнение т. Осинского вскакивает у нас на подбородке в качестве маленького прыщика, то оно нисколько не меняет нашей физиономии. (Апплод.).

Колоссальное, небывалое единство, абсолютная железная дисциплина, постепенный головокружительный под'ем нашей этики .. Разве недавно небыло так, что коммунистов крестьянин и рабочий мало уважал, потому что к нам затесалось многое множество всякого народа, сброд, который потянулся к нам потому, что у нас жареным запахло? Разве мы не были в таком положении, что чуть-чуть не попали в эсэровское: помните, как распухли эсэры и какая у них была водянка в 17-м году, как они лопнули и как навоняли на весь мир (Смех. Апплодисменты) Разве у нас такая водянка не замечалась, разве мы сами не приходили в ужас—какая масса дряни к нам набилась: А теперь разве вы не чувствуете, что за эти 2—2½ года изменилось отношение к коммунистам, и слово коммунист даже обыватели, даже враги наши произносят с уважением. Мы действительно достигли в этом отношении огромной внутренней моральной сознательности каждого нашего члена, и я глубоко убежден, что само величие нашей задачи, самый размах, который мы делаем, все больше и больше будет сплачивать, будет слабейшего поднимать до сильного.

И вот эта необычайная партия, навербованная в отсталой стране из рабочих и крестьян, это она через свою пятилетнюю дипломатию, которой только 5 лет, но которая говорит густым басом и весьма умные вещи, удивляет своей мудростью премудрых дипломатов Запада, как по евангельской легенде мудрецов храма удивлял 12 ти-летний Христос,—это она через свою дипломатию на Западе, через громадную агентуру на Востоке распустила свою стальную паутину, прикрепилась к самым далеким местам земного шара, а центр держится в Кремле. Это она в гигантской стране сделалась несокрушимой властью, пользующейся доверием всего населения. Это она бесспорно стала во главе подлинно революционных батальонов класса—спасителя человечества, класса пролетарского. И я не удивляюсь, что даже с уст Ильича, этого великого реалиста, даже с уст его, который никогда ни себя, ни партию не хвалил, который в день своего 50-тилетия сказал: „Нечего

А. В. Луначарский и Предгубисполкома т Корнев

Секретарь Томского Губкома Р. К. П. (б)
В. А. Строганов.

заниматься комчванством и комвраньем", который сказал: „Вы кой-что сделали в военном деле, а вот как ты, коммунист, на счетах щелкать будешь это еще неизвестно, а теперь надо щелкать, чтобы этим победить купчину, надувало морское. аршинника„,—этот человек, который постоянно смотрит на все трезвейшим образом, я помню, говорит на балконе московского совета речь, когда мы заставили отступить деникинцев и когда начался ряд ударов на голову революции, когда Юденич, не желавший посмотреть из Детского Села из бинокля на Петроград, потому что завтра я, говорит, по Невскому гулять буду, оказался опрокинутым и прогнанным,— тогда наш реалист Ильич сказал: „Это какое-то чудо!"... Действительно, товарищи, даже он, который такой дерзновенный план нарисовал, который так верил в коммунистическую партию, даже он, когда увидел эти страшные трудности, думал, что придется ограничиться славной первой попыткой и погибнуть, быть может, в качестве пионеров великого дела,—и он даже не дооценил, что может создать авангард подлинных народных масс, какие сокровища таятся в сердце народных масс, какие сокровища таятся в сердце пролетариата и в сердце крестьянской бедноты...

Воистину, товарищи, магнитные железняки курские, которые теперь дает нам мать сыра-земля в подарок по случаю наших побед, они—малая ценность по сравнению с тем магнитом, который заложен в материке трудового народа. (Апплодисменты).

Вы простите меня, товарищи, и пусть простит меня сейчас больной великий учитель, что я рисовал не столько трудности, сколько важности уже сделанного и что моя сегодняшняя речь о задачах РКП, не только полна надежд, но превратилась в своего рода панегирик партии.

Иногда хорошо бывает собраться так в маленькой семье, тысячи в две человек, в одном из маленьких уголков нашей России и вспомнить о том, какое это может быть страшное и грозное, но какое это славное счастье жить в эти десятилетия 20-го столетия и в качестве члена РКП месить человеческую историю и помогать ей на переломе из истории варварской превратиться, наконец, в историю светлого и разумного человеческого рода. (Апплодисменты).

Товарищи, много радостных впечатлений вынес я из этой моей поездки, она дала мне уверенность и в том, что массы, даже далеко от Москвы сразу откликаются на наш призыв, когда мы говорим: „поддержите нас против иностранного хищника",—и в том, что работа дружная, плодотворная, прозаическая, повседневная, ведется нами повсюду, камешек к камешку, достижение к достижению, и что всюду заметны симптомы выздоровления нашей страны. Она дала эти две, твердо основанных на наблюдениях,—веры. Вот почему я хотел сегодня постараться обрисовать вам всю грандиозность наших дерзаний весь необ'ятный горизонт, за которым мы сидим, всю гигантскую шахматную доску, на которой ведется нами игра, чтобы потом сделать из этого заседания маленький праздник коммунистической радости и вместе с вами от глубины души воскликнуть: готовы на какие угодно жертвы, готовы и жить для тебя и умереть для тебя. Да здравствует величайшая в мире рабочая коммунистическая партия!

(Бурные апплодисменты. Крики „браво").

Здоровье Ильича и его участие в работе.

(*Ответ тов. Луначарского*).

Товарищи, что касается состояния здоровья Владимира Ильича, то я, конечно, могу говорить лишь о том, что было ко времени моего от'езда. Почти уже десять дней, как я выехал; за это время могли быть какие нибудь новые явления. Судя по последним газетам, которые я читал, как будто бы, новостей в этом отношении нет. Владимир Ильич все время после того ухудшения, которое имело место как раз ко дню 25-тилетия нашей партии, все время понемножку оправлялся. Было маленькое опасение со стороны легких, которое, однако, оказалось более или менее ложной тревогой. Рука и нога, которые у Владимира Ильича несколько парализованы вследствие кровоизлияния в мозг, восстанавливаются, речь, которая была одно время очень неясной, также восстанавливается. Владимир Ильич уже давно сидит в кресле, довольно спокойно может разговаривать, в то время, как прежде его очень мучила неясность речи. Таким образом, он поправляется, но, во-первых, было бы совершенно невозможно занимать его сейчас какими-бы то ни было политическими тревогами, поэтому врачи предписали в этом смысле полнейшую изоляцию; во-вторых, когда Владимир Ильич окончательно оправится, также будем пользоваться только его общим, так сказать, стратегическим планом, руководством, но не можем допустить, чтобы он вошел в практическую работу хотя наполовину так не человечески самоотверженно, как он ее вел в качестве председателя совета народных комиссаров. Нам нужно всегда страшно щадить Владимира Ильича, нам нужно будет всячески его беречь, если мы хотим на долгие годы сохранить над РКП его гениальное руководство.

Что касается его роли в партии в настоящее время, то до самой последней минуты, когда положение ухудшилось, он давал руководящие идеи.

Вы знаете, что основная реформа,—длительная, правда, нашего государственного механизма,—создание связи между обновленными партийными органами, контрольные комиссии и обновленная РКИ—есть идея Владимира Ильича, что это от него изошел почти приказ его близким товарищам поставить во весь рост на 12-м с'езде вопрос о Востоке и что на 12-м с'езде фигурировали некоторые общие, набросанные суммарно, тезисы, которые Владимир Ильич составлял, можно сказать, за день до своей болезни. Таким образом, неуклонно, неизменно Владимир Ильич думал, будучи уже очень больным, над партийной работой, думал по прежнему чутко, гениально, и самая последняя его мысль, последний кусочек бумаги, на котором написаны какие-нибудь его слова, являются для нас драгоценными и имеют замечательный вес (аплодисменты). Товарищи, конечно, как только врачи позволят ему вернуться к книгам, к газетам, к литературе,—его друзья, не позволяя ему утомляться непосредственной политической работой,—уже будут получать от него, как и вся партия, важнейшие общие директивы, общие пояснения относительно мировой ситуации. Мы все полны твердой надеждой и абсолютной уверенностью, что в этом смысле Владимир Ильич еще на долгие годы, на самые опасные годы, останется руководителем мировой революции. (Долгие аплодисменты).

Общее собрание членов союза Работпрос и Рабис в честь приезда Наркома по Просвещению тов. А. В. Луначарского.

Почетным председателем собрания избирается тов. Луначарский.

Собрание приветствует тов. Луначарского продолжительными аплодисментами.

Нарком по просвещению А. В. Луначарский: Дорогие товарищи! Я хочу здесь воспользоваться нашим свиданием для того, чтобы предложить вам некоторые важнейшие идеи нашей принципиальной педагогической политики. Может быть, если бы я попал к вам на год раньше, у меня не хватило бы духу выступать перед вами с теоретическим обще-принципиальным докладом, посвященным в некоторой степени философии школы, ибо только в самое последнее время началось то заметное улучшение на „третьем фронте", как вы это называете, которое вновь вдохнуло в нас уверенность в возможности вернуться к огромной важности культурным проблемам, которые русский народ поставил себе через свой народный комиссариат по просвещению. Пока приходилось бороться и бороться довольно бесплодно против опасности, грозившей самому существованию школы; казалось в высшей степени неуместно говорить о каких бы то ни было идеальных ее формах или хотя бы даже о формах переходных к этому идеалу. Сейчас не то: сейчас наркомпрос, в частности, научно-педагогическая секция ГУСА, заняты разработкой программ и методических вопросов, постройкой того временного моста, который должен позволить нам в ближайшие годы начать продвигаться по направлению к единой трудовой политехнической школе и ко всей той школьной системе, которая этими центральными ее пунктами определяется.

Мы знаем, что на местах, почти без исключения—всюду, вопросы методов преподавания, вопросы принципов воспитания детей различного возраста стали вновь более или менее на первый план и помимо предстоящего обычного с'езда заведующих губернскими отделами народного образования мы в этом году или, по крайней мере, до истечения текущего года предполагаем во второй раз после начала революции собрать с'езд по народному образованию всесоюзный, по возможности, с участием как ваших работников губернских и уездных отделов, так и учительских масс. Мы хотим на этом с'езде поставить во весь рост исключительно чисто педагогические проблемы.

Вот эти обстоятельства, эти явные признаки начала деятельной работы в области педагогики, школьной политики и заставили меня в эту мою поездку поставить одной из моих целей читать доклады по основам нашей школьной политики перед работниками просвещения во всех более или менее крупных культурных центрах, в которых мне во время моей длинной поездки удастся побывать.

Товарищи, я начну с такого вопроса: очень часто педагоги, в первые годы после революции, педагоги школ второй ступени, профессура, бросали нам такое обвинение: „вы хотите пропитать школу классовым духом, вы, начиная с маленьких детей, думаете уже делать их об'ектами своей пропаганды и

агитации, вы изменяете об'ективную внеклассовую педагогию в отношении младших возрастов и „Великую Об'ективную Науку" (с большой буквы) в отношении студентов техникумов и университетов; вы—тенденциозные люди, вы—люди определенной партийности и эту страшную вещь—партийность хотите внести в святое дело воспитания детей, которое должно быть совершенно об'ективно и всякой партийности чуждо".

Вот видите, товарищи, очень многие, может быть, и сейчас разделяют эту точку зрения, и она свидетельствует о том, как наш педагог, говорящий таким языком, мало научно образован. Из этого вовсе не следует, что я хотел это бросить ему в упрек: я знаю, что русский педагог не так хорошо подготовлен,—это не его вина. В этом смысле плохо подготовленными оказываются и профессора, да и не только какие нибудь гистологи,—они социалистическими вопросами не занимаются, с них чего и требовать,—но профессора-социологи, юристы, педагоги; даже если могут говорить такие нелепые невежественные вещи. И это значит, что если сам учитель, если профессор, пройдя школу, может быть, с какого нибудь детского сада вплоть до кафедры, не научился той простой истине, что школа всегда была и не может не быть политическим, классовым оружием. Если он сам, будучи преподавателем и проводя в жизнь определенные тенденции, также мало подозревал, что он является проводником определенных политических тенденций, как герой Мольера не подозревал, что он говорит всегда прозой,—это свидетельствует, что неправильно была построена школа, если о себе самом человек ничего не знает, ни о своих собственных функциях, ни о истинах, которыми живет...

Что такое по существу просвещение и какие формы принимает, какую роль играет это просвещение в течение культурной истории? Об этом говорят таким языком, что получается абсолютное искажение истины, как сквозь туман... Какой нибудь студент-педагог, кончающий высшее специальное учебное заведение, не знает истории школы и внутреннего смысла истории школы не знает совсем: от него самая суть вещей скрыта сознательной и бессознательной ложью, и эту сознательную и бессознательную ложь я постараюсь в первой части моей лекции сегодня вскрыть насколько это можно.

Что такое вообще задачи просвещения?.. Вы знаете, товарищи, что у человека, начиная с очень ранних лет, с первых стадий его развития, с тех пор, как мы его находим в порядке исследования исторического и этнологического, мы уже замечаем большую роль просвещения. Часто в животном мире мы имеем обыкновенно поражающих профанов, как какое-то чудо, факты: скажем, изолированное животное, искусственно воспитанное, никогда не видевшее своих родителей, приходя в возраст, строит гнездо, плетет паутину и пр. с таким искусством, что неизвестно, откуда оно его взяло. А мы знаем—откуда это взято: это так же присуще данному организму какой нибудь птицы, паука или жука, как конструкции часов присуще ходить и правильно указывать время, если, конечно, сама конструкция не испорчена, мы знаем, что по-существу в строении органов и нервной системы, которая на определенном воздействии природы заставляет какое нибудь маленькое существо безошибочно, всегда одинаково, очень тонко и многосложно отвечать, есть, в сущности говоря, накопленный, материализовавшийся опыт". В течение бесчисленных годов накопляется этот опыт путем гибели неприспособленных, укрепления правильного приспособления, анатомического или физиологического изменения органов, тканей в результате определенного функционирования. Таким образом оказывается, что такой жук, или какая нибудь гусеница знает, что нужно делать для того, чтобы личинки или, наоборот, бабочка, оказалась в благоприятной обстановке, знает, что существо, по всем своим нравам чуждое ему самому, воспи-

тывается путем гигантской школы природы, раздробляющей все, что не приспособлено... Как можно менять какой нибудь твердый камень? А между тем из него высекают механизм, который потом и функционирует сам по себе. Как мы не удивляемся тому, что ребенку не нужно учиться, чтобы у него билось сердце, или желудок варил молоко, которым он питается,—так мы не должны удивляться тому, что животное почти во всей своей жизни работает этим приобретенным и унаследованным опытом, повидимому, не предполагающим или мало предполагающим процесс сознания. Человек глубочайшим образом от этого отличен. Нам кажется, разница между каким нибудь негритенком из Средней Африки и сыном какой нибудь профессорской семьи из Лондона гигантская, она действительно гигантская: совершенно разное развитие языка и мысли, другие моральные уклады, огромное новое приспособление к жизни, колоссальное количество социальных связей с необычайно многосложным обществом у англичанина,—и все это очень примитивное, простое, полуживотное у этого самого дикаря. Между тем, мы прекрасно знаем, что если маленький англичанин со всеми унаследованными от целой династии английских профессоров и культуртрегеров инстинктами попал бы в Африку и был бы там с первых дней воспитан, он, вероятно, почти ничем, или ровно ничем, или может быть только некоторым отличался от маленького негритенка, может быть только физически был бы менее приспособлен к этой среде; и наоборот,—несмотря на все злостные утверждения, что низшие расы человечества не могут путем воспитания быть подняты на высокую ступень развития, мы знаем, что это ложь, и разница между средней способности инородцем из отсталого, какого нибудь кочевого народа, с сыном какого нибудь аристократа сводится к нулю. Если они будут воспитываться в одинаковом детском доме, полях и школе, то только от некоторых особенностей зависит, кто пойдет дальше. Человек, как мы его берем и рассматриваем, почти целиком, создан просвещением. От матери и отца унаследовал то, что называют (тоже, конечно, обычно) tabula rasa—то что называется белым листом: сюда вписано общечеловеческое, целая масса органических функций, свойственных человеку, как определенному роду животных; но то, чему он будет верить, что он будет знать, что он будет иметь 99% содержания его личности—будет зависить от просвещения. И степень культуры каждого народа заключается именно в том, какой массивности, какой разработанности, какой приспособленности к жизненным условиям достиг тот коллективный опыт, накопленный из поколения в поколение, который потом путем просвещения прививается новым поколениям не как у животных,—сам организм видоизменился, развился и определяет путем прямой наследственности, судьбу детеныша,—а огромный опыт на высшей стадии развития, отражающихся в университетах, лабораториях, библиотеках, колоссальном техническом аппарате. Вот он является тем, что определяет собою степень развития маленького мальчика или маленькой девочки. И этот маленький мальчик, или маленькая девочка, такое пустое маленькое существо, такая же личинка в высоко развитом обществе, как и в мало развитом, начинает подвергаться совсем другим действиям извне и приобретает искусственно, путем просвещения, коллективный опыт, незафиксированный в нервах, мускулах и костях, и в книгах, познаниях, приборах, в совершенно социальном богатстве. Вот эта особенность человеческого общества, что оно создает по образу и подобию своему своего согражданина из маленького человека, путем внушения ему, путем внедрения ему, путем заражения его своими обычаями, своими познаниями, своими идеалами,—эта особенность и есть просвещение, и она настолько своеобразно присуща человеку, почти только человеку и за то всякому человеку, что рядом с определением homo sapiens, или homo

faber—человек, производящий орудия, homo educatus—человек воспитанный, человек, которого воспитывают, как для млекопитающихся животных выбрали эту особенность: „животное, кормящееся на первой стадии развития молоком матери“,—так и для человека, через посредство языка, через посредство сложной системы знаков, общество воспитывает и подымает до себя совершенно беспомощное существо. Но именно потому, что воспитание или просвещение являются таким приемом, что включает в себя два элемента: элемент непрерывного роста организации человеческого опыта, который называется прогрессом, и умение вводить в каждый этаж этого прогресса детей путем усвоения ими приобретенного в тысячалетиях опыта,—именно эта особенность просвещения и заставляет нас придти к выводу, что оно почти никогда не было и не могло быть об'ективным, оно всегда было, должно было быть искаженным классовыми предрассудками и классовыми тенденциями. Почему? Потому что мы во всей истории человечества здорового общества не видим. Мы можем констатировать в некоторых случаях слабое приближение к более или менее здоровому обществу, в громадном же большинстве случаев мы его совсем не видим. Составим более или менее первобытную коммунистическую орду,—о ней мало знаем. Сейчас же на следующих стадиях мы видим, что война, охота, подчинение бедных землевладельцев богатым землевладельцам расслояет общество на имущих и неимущих, на богатых и бедных, знатных и незнатных, знающих и невежественных. И не думайте, что это значит, что отныне общественный опыт не будут прививать беднякам, что им будут пользоваться только высшие классы: опыт, знание, просвещение становится привиллегией господствующих (он скрывается, он не передается подчиненному).

Но это только маленькая часть того зла, которое присуще всякому просвещению. Не только это делается, но маленький аристократ, маленький привиллегированный человек отравляется сознанием того, что он особенный, что он происходит от богов, что у него голубая кровь, то, что он дворянин, есть воин, что другие должны служить ему, что жизнь других ничто по сравнению с его интересами или даже капризами. С самого начала в нем воспитывается гордый по отношению к другим звереныш, насильник; с самого начала его убеждают что это его право—носить мечь и то, что он дворянин, то, что он есть воин, профессиональный убийца, что это есть чрезвычайное достоинство: таковы боги, таковы были необычайно благородные предки; боги были тоже убийцы, и ты убийца, ты имеешь право наступать на головы. Соответственно этому все просвещение их будет подобрано для такого аристократа, все науки будут преподаваться так, всякая истина, которая могла бы заставить маленького аристократа усумниться в своем праве так поступать, будет или из'ята из его обращения, как непедагогическая, как негодная для „благородного“ ребенка, но будет часто искажаться, как мы знаем, часто искажается на более высоких стадиях тоже самое христианство. Ведь христианство, по существу говоря, есть полное отрицание всякого дворянства, всякой благорожденности, всякой войны, всякого чувства мести. Но вы прекрасно знаете: нашим офицерам, дворянам, христианство преподавалось, что сам сын божий сказал: если тебя ударят по лицу,—ты подставляй щеку“. Если бы офицеры так поступали—их исключили бы из полка. Наоборот, надо вызвать такого оскорбителя на дуэль и убить его, это в порядке дворянской чести, и дело попа или иезуита или другого податливого священника найти какое нибудь ухищрение и сказать, что тут сына божия надо понимать духовно и что это неприменимо к жизни. Но, ведь, евангельское учение, которое возникло в низах, проникнуто чувством братства и равенства. Оно, правда, лишено всякого чувства борьбы, мистически зовет только к

тому, чтобы ожидать помощи с небес, развивает в низах пассивность и терпение,—это ужасный недостаток,—но все-таки это учение, возникшее в низах, носящее низовую печать, чтобы надувать эти низы, держать в терпении—путем обещания загробной жизни,—в зависимости от себя,—господствующие классы об'явили его, христианство, верой господствующей, заявили, что они, христолюбивые воины и цари суть помазанники божии. Разве благодаря этому они хоть мало-мальски изменили дух школы? Они оставили все это чистейшими словами и это лишнее доказательство того, что я говорил.

Подбирается воспитание таким образом, чтобы аристократ, тоже самое и относительно буржуа, мог развернуть это классовое самочувствие, его гордость, его чувство чести, его кровожадность, его административную сноровку рабовладельца. И только тот воспитатель хорош, который сможет это в нем развернуть.

Чем ниже мы спускаемся по общественной лестнице, тем больше изменяется школа. Господствующие классы требуют, чтобы тех, кто попадает в школу, воспитывали в духе подчинения, в духе отсутствия критики по отношению к обществу, в котором живут. Этому помогает лживо-патриотически-правительственно преподаваемая история, этому помогает, так называемый, закон божий, который дает извращенную картину о всей природе, где при помощи нескольких фантастических идей можно свести концы с концами той нелепости, которая иначе бросилась бы в глаза каждому обиженному, угнетенному. В школе вводится дисциплина, которая с малых лет приучает ребенка думать, что он подневольное существо, что ему почти ничего нельзя, что хотелось бы, что он маленький нижний чин, к которому приставлен учитель—офицер, который должен его вымуштровать, где он будет материалом, при помощи которого государство будет совершать свои функции, которого будут стричь. Если бы не через закопченные очки обманчивых внутренних иллюзий, а реальными глазами посмотреть на школу в какой угодно стране, то сразу выпуклыми буквами выступило бы, что эта школа есть учреждение, в котором определенная власть политически дрессирует каждый класс так, как это ему выгодно. Дрессируется определенный ребенок из верхов, дрессируется средний, дрессируется младший или низший общественный класс, а наука, знание, умение преподаются каждое, поскольку это государству необходимо, чтобы получился знающий и умеющий работник, однако, всегда с таким расчетом, чтобы не переборщить и чтобы эта наука, таящая в себе Люцеферовскую гордыню, дух критики и сомнения, не заставляла бы детей, не привела бы детей к умничанью, чтобы не поражен был такой симпатичный и нужный для классового общества Молчалинский дух.

Такова школа всюду: Вы, конечно, могли бы мне возразить: „нет, не всюду она такова! Мы помним наши русские университеты во тьме самодержавного режима, Московский университет, положим, протестовал против такого свойства школы;—что бывали отдельные хорошие учителя в гимназиях, в кадетских корпусах, которые проводили другие идеи, чтобы не так смотрели; бывали хорошие сельские учителя, которые не хотели быть своего рода жандармами у доски, который должен был обескрылить ребенка и сделать из человека домашнюю птицу. Конечно, были другие,—скажу я,—да, были... Но это не противоречие. Возьмем наиболее разительный пример, тот, что университеты, значительная часть профессуры и еще большая часть студенчества в течение многих десятков лет были оплотом борьбы против самодержавия. Почему это так? Потому, что тогда началась борьба между двумя классами: между классом помещиков, опиравшихся на высшее духовенство, на офицерскую власть, на административный чиновничий аппарат правительства, которое хотело во что бы

то нистало оставить тьму, косность и зиму в России, и между буржуазией, которая стала приобретать значительные средства, которой нужны были железные дороги, пароходства, телеграф, хорошо поставленная медицина, разработанные естественные богатства' инженеры, врачи и т. д.,—вся та культурная обстановка, вне которой капитализм развиваться не может, вне которой барыша получить нельзя. Сразу же произошел конфликт в этом отношении между старым и новым, и еще Петр Великий был уже отчасти буржуазным революционером, поскольку он убедился, что с одним дворянством обойтись невозможно и поскольку он признал нужным образование широких слоев: мальчика-разносчика он мог сделать министром, благоволил к бездомным иностранцам буржуазного происхождения—голландским шкиперам и швейцарским ремесленникам, ставя их на высокие посты, поскольку это было в параллель с европеизацией России, стремление Петра дать простор для меркантинизма, для торгового и зародыша промышленного капитала. Старое дворянство говорило: „что это за царь - этот кургузый царь, который бороды нам стрижет,— это чужой". Так было потому, что власть была вынуждена стать на точку зрения буржуазии и с точки зрения буржуазии начать борьбу с косностью класса, на который до сих пор она опиралась. Отсюда возникли русские университеты. Пришлось привлечь и средние прослойки, взять детей, чтобы обучить их всему тому, что нужно государству, которое имеет соседями с высоко развитым капитализмом страны. В результате этот затяжной конфликт общества буржуазного вместе с той интеллигенцией, которая буржуазией вызвана к жизни— адвокатами, инженерами и т. п.—требует иной школы: побольше об'ективных наук, побольше естествознания, поменьше казарменного духа. Столкновение совершенно естественное; рельефно выделяется хороший хозяин, фабрикант, банкир, железнодорожник. Он определенно говорит: „на кой мне чорт, чтобы мой сын, мой мальчик, или моя девочка, был бы завален мертвой латынью, зачем его душить бессмысленным законом божьим, который есть вера нашего прошлого, который не соответствует нынешнему научному мировоззрению. Вы научите, сделайте его именно путем реальной школы"... Поэтому в Германии такие школы, где буржуазный дух был сильнее и назывались реальными. „Научите его реальным знаниям, дайте ему подготовку, подлинное представление торговца, морехода, строителя,—такой мне нужен". А самодержавие говорило: „мне нужен чиновник, который говорил бы,— „чего изволите", мне нужен вицмундирный человек, я тебе так просто уступить не могу, ты среди студентов разворачиваешься, а студент оказывается революционером".

Насколько я прав, товарищи, это видно из инцидента, происшедшего с Вильгельмом II—Германским императором, который пережил тоже явление. Этот инцидент заключался в следующем: группа сторонников „великого флота" и „великой колониальной Германии", т. е. группа германских буржуа, просила Вильгельма покончить с классической школой и всюду завести реалистическую—техникумы и политехникумы, что бы создать из немца того приспособленного торговца и воина, который для нея, „великой Германии" нужен, с указанием на то, что старая латынь, старая муштра, учеба совершенно более не нужна. И Вильгельм на этом докладе написал: „согласен, реальным училищам надо всячески покровительствовать". Тогда профессора, директора и учителя классических гимназий подали ему замечательный меморандум, который гласил следующее: „Ваше величество, уничтожение классической гимназии может быть и поведет к тому, что вы будете иметь больше практических деятелей, но вы будете иметь меньше верноподданных". Это в высшей степени характерный аргумент, заставивший Вильгельма усумниться в правильности своего решения. И весь смысл меморандума заключается в том, чтобы ре-

Общее собрание работников просвещения и работников искусств с А. В Луначарским. (В центре А В. Луначарский, рядом Завгубоно т. Карнаушевский Л. И., левее Предгубпроса т Зудилов И. Е.

Уполномоченный Наркомпросса по Сибири т. Чудинов с ответствен. работниками Томск. Губоно.

А В. Луначарский в гостях у детей (детдом № 1)

бенка учить тому, что развивает в нем чисто формальные упражнения: его надо муштровать, воспитать дух повиновения и уменье сладить со всякой пустой формальной задачей, которую ему предпишут. Маленькая параллель. Чтобы вы поняли, почему такое столкновение возможно между помещичьими, бюрократическими тенденциями и буржуазными. Военное дело: до империалистической войны считалось, что солдата можно подготовить в 2, даже может быть в 3 года; Франция от 2-х перешла к 3-м годам обучения, иначе, говорит, хорошего солдата получить нельзя. После войны все генералы, толковавшие этот вопрос—французские, американские и немецкие—признали, что можно сделать великолепного солдата в 4 месяца. Муштровка не нужна, казарменное маневрирование, вся строевая служба и строевая подготовка, которая доходила до крайности, не потеряла еще духа Фридриха с подниманием носка выше носа, что это ерунда, дребедень. Дело убивания людей газами и артиллерией ничего общего с этой муштрой не имеет. Что вы думаете:—эти генералы были дураки, что раньше не понимали этого? Они прекрасно понимали, что технически глупо растрачивают время большого количества людей. Учат совсем не так и не тому, что будет нужно на самом деле на войне. Для чего же их тогда учили? Чтобы замордовать, загипнотизировать солдат. Казарма есть вещь, которой вырывается внутреннее чувство у человека, чтобы солдат, не задумываясь, стрелял в мать или отца, если это окажется нужным. Надо обморочить людей, превратить их в автоматов, олухов, -и он делает то, что прикажут, не считаясь с совестью. Чтобы человека довести до такого состояния, надо было 3 года казарменной муштры. Совершенно то же самое в классической гимназии: надо было 8 лет муштры, чтобы вышло одно из самых чудовищных явлений и европейской и китайской жизни, именно чиновник. И большее или меньшее количество живых людей превращали в автоматы, живые души умерщвляли, оставляя тела живыми. Это была совершенно определенная тенденция. Буржуазия понимала школу иначе: она боролась за реальную школу, и в то время, когда буржуазия и буржуазная интеллигенция была в кандалах, когда самодержавие в России питало громадное недоверие, когда министерство народного просвещения было министерством народного затемнения, когда было поставлено министерство с приказом: „смотри ты у меня, чтобы не очень народ просвещался". Когда это было главной целью,—земство хочет просвещать. „Земство хочет просвещать—не позволить; купцы там что-то жертвуют на школу—не позволить, шевелится свободная мысль—попа послать, чтобы он посмотрел, что там делается в школе".

Когда так делалось, либеральная буржуазная школа проникласъ протестующим душком и отсюда кажется, что эта протестующая либеральная школа защищает что то общечеловеческое, то, что всякому педагогу нужно было бы знать. Мне скажут: „конечно, я понимаю, что министерство народного просвещения хотело муштры, но ведь была и другая—частная, земская школа, та этого не хотела, та хотела воспитать настоящего самостоятельного человека". Посмотрим...

Сейчас же предварю вас, что я говорю о массовой школе, не говорю об исключениях, о которых буду говорить еще Посмотрим, как же буржуазия построила свою школу. Есть только одна страна, где буржуазия более или менее построила свою школу вольно до конца, подлинную буржуазную школу,—это Америка. Сейчас же оговорюсь, что имеется еще интересный тип—частью швейцарская и еще норвежская школа; последняя есть тип мелко-буржуазно-мужицкой школы, она имеет специфические своеобразно классовые черты.

Будем говорить о буржуазной школе, как таковой. Буржуазия Франции и Германии не посмела построить своей соб-

ственной школы. Чтобы иллюстрировать, насколько она не посмела, приведу два примера.

1) Буржуазия, которая подходила реалистически, которая говорила: не надо засорять умы детей предрассудками, не надо учить тому, что с точки зрения науки является явной ложью; надо учить их знать настоящую правду о природе, чтобы, широко говоря, вышел хороший инженер, человек умеющий справляться с природой в той области, в которую будет поставлен. Нам нужна реальная борьба с природой, развитие индустрии коммерции, земледелия и поэтому буржуазный педагог изгнал попа из школы, поэтому буржуазные педагоги заявили: „попа нам не надо. Можно преподавать религию так же, как мифы и литературу, как возникшие на определенной стадии развития мифы, но преподавать ее за истину нельзя". Очень рельефно это высказано в самое последнее время, несколько лет тому назад. одним из крупнейших немецких педагогов, который приводит чрезвычайно характерную аргументацию, настолько выпуклую, что она лучше откроет суть буржуазной школы: „нельзя допустить в школе преподавание закона божия потому, что библийская история и в значительной степени евангельские повествования абсолютно противоречат всему остальному духу школы. Школа должна воспитать в ребенке сознание полной закономерности всех явлений. Что же эта за школа, которая, по крайней мере, к 12 годам не сделает ребенка усвоившим, как дважды два четыре, что чуда нет... Он должен усвоить закон вечности материи, круговорот энергии, что из ничего ничего не получается, но рядом, в соседнем классе, herr vater будет говорить о чудесах. Кому же ребенок поверит? Он скажет:—„об'ясните мне с точки зрения физической, как могло произойти такое то и такое то чудо: он скажет, что вы мелете чепуху... Почему вы говорите мне о трехдневном пребывании Иона во чреве кита,—ясно, что это не вяжется с представлением о ките, и с тем, что говорил мне учитель естествознания!.. Это получается потому, что один преподает науку, имевшую силу две тысячи лет тому назад, тысячу лет, с грехом попалам—500 лет тому назад, а другой преподает науку в том виде, как она есть сейчас: хвост лежит в том миросозерцании, которым живут сельские обыватели, отсталые слои еще питаются старым миросозерцанием, но школа не может этому потворствовать, она должна выводить детей из этого старого миросозерцания, значит, священнику здесь места нет. Если родителям угодно—пусть это делается вне школы, но то, что говорится в школе,—это только правда, проверенная современной наукой и ничего другого. Паульсен идет дальше и подчеркивает классовую сущность этого. Он говорит: „не думаете ли вы, что маленький сын пролетария, когда перестанет верить, что мир был создан в 7 дней, и целую массу другой чепухи, он скажет в школе: „что вы мне говорите такую чепуху! Сам учитель географии ее опровергает", а если не скажет, то это не значит, что верит. А если же он перестанет верить вообще в преподающиеся ему законы о собственности, государственном порядке, все то, что является правом, устоями нашего общества?... Вы ему преподаете хрупкую вещь, которую критика легко разрушает и он вам ни в чем не поверит. И для спасения возможности путем просвещения накачивать души маленьких пролетариев и крестьян буржуазными воззрениями на мир и общество. Буржуазия выбросила вон закон божий, как волкам выбрасывают поросенка, когда они догоняют... Бог с ним, с законом божиим, это слабая сторона... На тебе его, прогресс, на растерзание, может быть мы остальное спасем.

Но я сказал, товарищи, что буржуазия не посмела построить школу. В этом смысле талантливый Ферст, австрийский педагог, который тоже касается школьного вопроса, говорит: «наша школа до войны была во многом не правильно построена. Мы были проникнуты духом либерального индиви-

дуализма, нам казалось, что государство—это дело само по себе—ночной сторож,—а важно приготовить человека для жизни. Это значило—дать ему острые зубы и длинные когти для борьбы за свою культуру». Чудесная характеристика сказана устами одного из крупных педагогов. Иной раз мы могли встретить 13—14-летнего мальчика, которого вы спрашивали,—для чего ему надо сдать экзамен по физике. „Чтобы в университет поступить".—„Для чего в университет поступить"—«Чтобы получить должность».—«А для чего должность».—„Чтобы богато, весело прожить, быть привиллегированным лучше"... И вот всякое знание – зубы, когти... Он приспособлен для борьбы за жизнь. Легче получить место значит, что школа должна мне дать с наименьшим усилием все те знания, которые мне нужны, потому что я лично расчитываю на такое то в росписи о рангах место для себя и всякая прибавка науки, как в мандаринской школе, как совершенно показательная, как в реторте сделанная система чиновников,—научился новой науке (у китайцев тоже наука, только в более усложненном виде),—получаешь какой-нибудь новый шарик или кисточку и большая тебе честь и доходы. Эти же шарики и кисточки являлись исключительной целью буржуазных ученых.

Что же, говорит Ферст, получилось: вышли плохие граждане. Оказывается, что мы еще полуопасались в этой войне, оказалось, что инстинкт народа показал, что надо всем умирать за Вильгельма II и за «великую Германию», но могло бы быть хуже, и надо опомниться, надо понимать. В этом сказывается инстинкт буржуа империалистического периода, когда народы не могут больше мирно толковать, а на каждом шагу могут вцепиться друг в друга, все за одного, но Форстера надо понимать, так чтобы каждая фирма—„великая Германия", „великая Россия"—была крепко сплочена сверху до низу, чтобы каждый предпочитал интересы фирмы своим личным. Патриотизм есть чувство, которое делает человека преданным фирме, от которой получают прибыль только немногие капиталисты и крупные чиновники, которые делают его готовым поступиться личными интересами, семьей, здоровьем, жизнью.

Патриотическое воспитание в этом отношении имеет особенное античеловеческое направление. Что такое буржуазное общество? Если кусок Польши у австрийца, а другой кусок у русского, один поляк живет под Варшавой, а другой поляк под Краковым, так они должны убивать друг друга, потому что Польша не была свободной, а теперь одно и то же—патриотизм. Дело совершенно не в том, чтобы тут было какое то национальное чувство, а в том, как проведена граница хищнической борьбой. Когда Бессарабия была русской, там знаменитый бессарабский помещик Крупенский и друг. упражнялись по части ультра-патриотизма и правительство нагнетало там русский патриотизм; теперь румынские бояре нагнетают там румынский патриотизм и как прежде румынчик, который говорил бы, что Бессарабия есть страна, тяготеющая к Молдавии и Балахии, его никто бы не похвалил тогда, но выгнал бы из школы, и сейчас посадят в тюрьму человека, который скажет, что Бессарабия тяготеет к России, потому что тут патриотизм, муштра своих подданных, независимо от их веры и их национальности, в угоду поддержания определенной разбойничьей фирмы, набравшей народу, сколько смогла. Ферстер говорит, что надо воспитывать ребенка в духе патриотизма, в духе самоотверженности, в духе социального единства, в духе коллективизма, конечно, патриотического, и спрашивает себя—как же это сделать в буржуазной школе? Как же мы внушим крестьянскому или пролетарскому сыну, что он должен жертвовать... Почему я должен всю жизнь потеть, страдать и умру таким, и должен почему то быть патриотом, когда несколько десятков тысяч роскошествуют. Можно ли, спрашивает Ферстер, любить современное отечество

его низам? Нет, он говорит, при свете науки невозможно. Если дать научное развитие мальчику или девочке из низших слоев, они любить свое отечество не могут, они возмутятся против этого строя... Как же быть? Надо, говорит, опять вводить закон божий, потому что только господин пастер или патер может свести концы с концами; он скажет: „да, ты прав, сын мой, или, дочь моя, на сем свете не все ладно, но на том свете это все урегулируется как следует быть. (Смех. Апплодисменты). Ты здесь должен терпеть, но зато там будешь сидеть на лоне Авраама и даже будешь поглядывать, как тот военный министр, который тебя мобилизовал, жарится на какой нибудь соответствующей сковородке; хотя и духовно надо это понимать, но все-таки неприятная судьба, которая ждет в виду строгости к тем, которые получили мзду свою в жизни сей... То, что тебе не доплочено в качестве заработной платы, в качестве здоровья, любви, радости жизни все записано в большие главные бухгалтерские книги у господа бога и будет заплочено даже может быть с известными процентами. Носятся слухи, что вместе с тем это высокое провидение, которое приводит к хорошему концу, оно благословило именно Кайзеров и президентов, министров и генералов, устраивать фрикасе из миллионов человеческих тел и душ... Если не понятно, зачем это господу богу,—помни, что пути его неисповедимы и ты этому должен повиноваться“.

Кто же из гистологов и географов сможет сказать: „отодвинем книги и я признаю, что я христианин“. Он скажет: „я, правда, ученый, но все еще буржуй; как ученый—я так мыслю, я как классовый человек держусь за выгоды старой, именно классовой концепции“. Нам говорят: „а вы знаете сколько ученых верят в бога?“. Да, знаем,—знаем, что крепко и цепко держит их буржуазия и что их совесть внутренне раздвоена. Оказывается, что вера и неверие,—т. е. новое миросозерцание, научное, честное, светлое, или подлый обман происходят не от того, какую школу кончил и какую кафедру занимал, а от того, заинтересован ли ты в буржуазной эксплоатации или заинтересован в ея конце: если заинтересован в конце, то ты наш,—а бог с ним и с богом, и с чортом, и с раем, и с адом, я считаю необходимым устроить здесь на земле немножко больше правды“. Такой человек входит в борьбу из-за этой правды, входит в конфликт с тем же духовенством, которое этой правды не хочет, и что особенно бросается в глаза,—что духовенство делает вид на страницах евангелия, что почти хочет этой правды, но на самом деле выступает всегда против нея. Вот почему совершенно не парадоксом, а естественным признанием фактов было то, что сказал бывший протоиерей Введенский, а теперь духовный вождь „основной русской церкви“ в переписке с Александром Крутицким: „коммунисты, не веря, творят то, что предписано евангелием, а мы, веря, никогда этого ничего не делали“, потому что евангелие выросло по формации своей из требования низов, было приспособлено в школе для обманывания низов, все там надлежало понимать духовно и по всякому поводу отсылался человек на тот свет и по этому типу буржуазия никогда не могла провести свою школу до конца, потому что подлинная школа должна быть в научной своей части абсолютно честной. Научно констатировать все факты, как они есть, ставить перед ребенком проблемы, как они всей жизнью поставлены,—это значило пойти против буржуазии. Буржуазный строй противоречит прогрессу техники, прогрессу науки, нам не нужны эксплоататоры, буржуа, нам нужны инженеры, техники, рабочие и крестьяне, нужен весь человеческий массив, производящий великую творческую работу, и ему вредит, что кто то в это время получает барыш. Фабрика есть место, где идет борьба с природой, чтобы видоизменить природу на потребу человека, на потребу человеческому роду—это социалистическое понимание,—здесь есть

узел человеческих сил, скопище машин. Действие определенных энергий, сотрудничество определенных людей, связь через посылку и получение сырья через отправку выработанного на потребу человека материала, но оказывается, что она принадлежит какому то „Тит Титычу“ и все, что в ней вырабатывается лишнего, идет ему: он может фабрику остановить, если она ему не выгодна, если ему не выгодно производить какие нибудь сапоги или сукно, новую машину не ввести, потому что руки и так дешевы. Вот это обстоятельство есть вздор.. То, что они конкурируют друг с другом, сшибают эту конкуренцию, доводят мир до войн, когда все раззоряется и разрушается, когда земля обогряется кровью,— все это нужно искоренить, с точки зрения науки и техники это теперь отсталое окоснение, это пережиток, это страшное уродство человеческого рода, наших имущественных взаимоотношений. Наука и труд рвутся из под них, просятся, чтобы организовать человеческую жизнь на началах научной истины, не считаясь с какими нибудь привиллегиями и правами. Разве буржуазное правительство позволит школе сказать это? Никогда, ни в какой Франции, ни в какой Америке никакой учитель этого не скажет; такого учителя, профессора сейчас же выгонят вон. А в Америке человек, который с кафедры осмелится преподавать социализм,—вылетит в 24 часа и мы видим целый ряд примеров этому,—тем более в других странах.

Таким образом, школа не может быть честной у буржуазии, она не может быть научной у буржуазии, она только до известной степени научна в отношении воспитания. Как буржуа может воспитать ребенка? Что касается низших слоев, там он также заинтересован в дисциплине, как прежде дворянство, правда, ему не нужна армия, ему надо, чтобы на фабрике спину гнули. На верхах одно время давались зубы и когти, а здесь, пожалуй, зубы, опирающиеся на всякую средневековую схоластику. И вот, товарищи, та школа, которая несет с собой коммунизм, школа единая, т. е. одинаковая для всех классов, применяющая одни и те же методы преподавания, в идеале—школа, которую мы хотим иметь, которая открывает для всякого ребенка, каково бы ни было его происхождение, все стадии дальнейшего развития, не различает „народной“ школы, из которой после 4 лет изволь уходить, не пользуясь дальнейшим образованием, настоящая вне-классовая школа: мальчик и девочка поступают в приготовительный класс и кончают последним семестром университета—для всех одинаково, шансы равны. А поскольку стране не надо проводить население через все стадии, постольку—прием в высшую школу наиболее способных. Дальнейшая воспитательная работа является наиболее целесообразной. „Трудовая школа“, т. е. та которая, по возможности, выкинула бы всякую учебу, давала бы ребенку, развертывая его способности, по возможности, развиваться, играя, переводя постепенно эту игру сначала в несложные трудовые процессы, а потом более сложные и плодотворные, дающие знание; заставить его, вернее вовлечь его, всегда питая его собственными интересами, в живое, благоприобретенное, воспринятое внешними органами, и при помощи активной работы всего организма—знание и умение. Американцы в этом отношении сделали, что умели: единой школы у них нет и не может быть, но что касается трудовой школы в этом понимании, в котором господствуют активные методы усвоения—американцами сделано очень много У них многому можно сейчас поучиться, и мы знаем, как этот метод трудового воспитания, прогулки, зарисовки, самостоятельные разработки ребенком или группой детей, заданной темы, реферата, дискуссии, изготовление моделей, инсценировки и т. д.—как этот метод глубоко внедряет приобретенные сведения в ребенка, совершенно почти избегая опасности забывания и рецедивов падения знаний, невежества, которое есть общее явление для нашей старой школы.

Но мы не только так понимаем трудовую школу. Для школ второй ступени мы имеем ввиду обучение предметам через активный способ усвоения, с последующей суммировкой, путем бесед и записей из сделанных выводов. Мы имеем здесь обучение и самому труду: это обучение, труду, однако, в отличие от технического обучения, где дело идет лишь о том, чтобы сделать из человека хорошего рабочего, мы понимаем, как часть общего образования. Стало быть дело сводится не к тому, чтобы сделать хорошего токаря или хорошего текстильщика, а чтобы человек научился знать, что такое труд; и, как вы знаете, нынче научно поставленный земледельческий труд, есть целая сложнейшая кристализация науки: если бы вы с ребенком изучили фабрику вместе с ея ремонтной мастерской, со складом, с конторой, внутренней дисциплиной, с ея учетом, то что вы при этом изучили бы? Вы изучите при этом все естественные законы природы, вы натолкнетесь на миллион живых примеров из физики, химии и т. д., науки о живых организмах, приобретете огромную массу сведений по математике, механике, по практике данного производства, а если притянуть сюда даже просто ремонтную мастерскую, то по целому ряду других.

Мы называем школу политехнической, потому что хотели бы, чтобы не на одном примере изучался труд. Изучая историю фабрики, вы изучите развитие трудовых отношений, узнаете, что такое профессиональные болезни, наталкиваетесь на общественную гигиену, на анатомию, физиологию, группу медицинских наук. Вообще нет такой группы знаний, которая не была бы прикручена к этому гигантскому злу соотношений человека и природы, к этому узлу, который развивается сильным индустриальным центром, фабрикой или заводом. Но, конечно, на этом поприще нас ждут еще большие трудности: включить детей для педагогической работы на фабриках и заводах сейчас невозможно, приходится ограничиваться экскурсиями, да и только там, где эти фабрики и заводы есть в достаточном количестве. Словом вопрос о превращении школы второй ступени в настоящую трудовую школу—есть вопрос очень сложный, и программа, которую мы рекомендуем теперь, разрешает вопрос в смысле указания суррогатов на этот счет; настоящим образом эта школа, которую так прославлял и которую так жаждал Маркс, возможна только для детей самого пролетариата и для фабричных и заводских учеников,—у тех можно воспользоваться трудовым положением, придать этому труду педагогический характер и эта работа производится в области фабзавучей с величайшей интенсивностью.

Но наша школа не только единая трудовая, но и политехническая: это то определение ея, которое указывает на ея научный, на ея чисто просветительный характер. У нея есть еще и воспитательные задачи: она не может проводиться при помощи какого-нибудь закона божия или выдуманной этики, она проводится при помощи правильного преподавания истории и науки об обществе и при помощи правильно построенной школьной жизни. Какую при этом цель преследуем мы? Мы преследуем реально-педогагическую цель, настоящую человеческую, в этом смысле совершенно непартийную и абсолютно не тенденциозную. Мы хотим воспитать человека, который был бы возможно более гармоничен в нравственном и духовном отношении, имел бы полное общее образование, которое помогло бы ему в дальнейшем приобрести мастерство в какой нибудь одной области. Также мы имеем ввиду создать настоящего благожелательного сотрудника своих сограждан, мы хотим сделать товарища всем остальным людям. Дело в том, что в момент наивысшего просветления педагогической мысли целыми эпохами или в лице отдельных гениальных представителей эти задачи давно уже сформулированы.

Я не хочу затягивать доклада и отошлю вас к отдельным страницам моего сочинения—„Проблемы народного образования", которая на-днях должна выйти, где вы найдете характеристику того, как греческая школа, поскольку греческое государство вынуждено было поставить перед собою задачу создать квалифицированного гражданина, ставило проблему—как воспитать каждого грека, чтобы он оказался квалификационно гораздо выше варвара, как воин, как работник, как мыслитель. Но этого мало: нужно было еще создать между ними еще максимальную сплоченность, и все греческое законодательство, вся греческая культура, поэзия имели педагогическую задачу—воспитать необыкновенно совершенного, сильного телом и духом согражданина—проникнутого большой дружественной преданностью каждого другому греку. Ограничение этого воспитания заключалось в том, что таким образом грек выделялся из семьи остальных народов и выделялся от захваченного в бою среди варваров раба. Это было тогдашнее ограничение, но и Маркс сказал, что вне этих ограничений в общем задача, поставленная так, в значительной степени разрешена. Даже сама религия была для этого употреблена. Возьмем воспитательное значение греческой скульптуры: мальчик видел статую. „Что это значит". Ему говорят, что вот такой то в беге, борьбе, на колеснице или чтением стихов, или другой формой какого нибудь музыкального соревнования одержал победу на громадных всенародных экзаменах, которые делала нация согражданам, за это ему ставится памятник. И атлет-победитель редко делался портретом: скульптор старался его сделать образцом так, чтобы мальчик думал: „вот до чего нужно развивать тело, вот образец, который чтут, которым гордится мой городок и я должен стараться быть таким"... Но греческая педагогия не ограничивалась атлетом. Дальше идет герой, полубог и сам бог, бог человекообразный, более человек, чем сам человек. Вся греческая религия через свою скульптуру говорила: человеку мешает быть человеком то, что он болеет, стареет, умирает; если же представить себе человека бессмертного (это было главное название бога), не стареющего, то вот он был бы таким, как бы на его лице выразилась эта мудрость, этот покой, эта гармония уверенного в себе, разумного, прекрасного существа—все вместе"...

Так строилась лестница почти до недосягаемого идеала и все было призывом, куда подниматься, куда пойти путем палестр и гимнастических упражнений, театральных зрелищ, патетических движений, наконец, самих войн, которые также имели воспитательное значение, потому что преследовали гражданскую задачу—защиты от варваров центра мира—Греции. Вот почему в классической педагогике можно черпать примеры.

Во время французской революции мы видим, как передовая буржуазия, стремящаяся повлечь за собой все народные массы, также начинает формулировать задачи школы, как задачи произвести возможно более совершенного человека и гражданина. Во Франции появляются Турнат, Ляпеллатье, Кондорсье, которые и сейчас остаются классическими, не в угоду какому нибудь классу или государству, потому что каждый педагог сказал бы: „я хочу произвести человека, который был бы счастлив и делал других счастливыми. Но как вы хотите, чтобы я его сделал, когда общество ваше несовершенно, когда оно людоедческое, когда оно разорвано противоречиями" и отсюда один шаг, который большинство великих педагогов и делало к социалистической или полусоциалистической мысли. Педагог, который с точки зрения своей смотрит, говорит так: „вот если бы удалось всех людей воспитать в духе любви, содружества, солидарности и духа и тела, то и общество изменилось бы". Но общество этого сделать не позволит, оно защищает свой звериный образ, поэтому революционер идет с другой стороны и в ответ на идеальный взлет греческой

педагогики или на мечты и практику Руссо, Песталлоцци, Фребеля, Фихте, Герберта отвечают: „ты, педагог, правильно ставишь задачу произвести прекрасного человека, сотрудника и товарища других в великом товариществе людей, но тебе этого не позволят, и надо сначала, чтобы я, революционер, опираясь на внутреннее негодование масс, расчистил тебе путь... Вот, когда я расшибу в дребезги рабовладельческое государство помещичьего или буржуазного типа, расшибу все эти министерства народного затемнения, когда освобожу тебя от власти церкви, тогда скажу тем из твоей среды, у которых есть уши, чтобы слышать, и которых надо освобождать, потому что в них есть живой педагог: пусть тогда такой педагог принимается за дело“... От этого землетрясения много зданий рухнет, борьба вызовет взаимоистребление и ожесточение, но как пройдут столкновения, ты должен почувствовать, ты не можешь не почувствовать, что для тебя настала свобода... Теперь говорится, что просвещение есть вливание в новые, чистые человеческие сосуды, не загрязненные пороками, предрассудками, эгоизмом—маленькие ангелоподобные существа, какими бывают дети,—вливание в них всех данных, приспособленных для возраста, нашего гигантского научного знания, всех умений, нашей гигантской техники, всех красот нашего огромного искусства на предмет выработки в нем, путем физической культуры и духовного упражнения, настоящего планомерно развитого человека, о котором когда то мы с тобой, педагог, мечтали и каким в наше время нам самим сделаться не удалось и которого тебе теперь возможно производить, потому что созданы великолепные общественные рамки. Ты, глядя в окно, говоришь: „разве нет теперь взяточников, грабителей, у которых от власти голова закружилась, лицемеров, больных, невежд“... Все есть, есть потому, что тот путь, который говорит: сделайте людей лучше, тогда и общество сделается лучше,—есть самообман или искусснейшая ложь. Таким путем нельзя идти, поэтому мы сделали общество гораздо лучше, чем человек: наша конституция, наши идеалы великолепны, но на практике,—ты говоришь нам,—на практике мало, чем отличаются от обыкновенного звероподобного житья. Да, потому что человек еще не перевоспитался, надо перевоспитаться путем иногда жесткой чистки себя самого и вокруг себя, надо освободиться от той заразы, которая влита в наши жилы, от всего того эгоизма, мертвенности, зараженности предрассудками, которыми каждый из нас искалечен, и нашему поколению надо делать гигантские усилия, чтобы мало по малу быть на высоте той предварительной, подготовительной, воспитательной работы, которую совершаем. Но мы это делаем в надежде на то, что наши младшие братья, сыновья, которым сейчас 15—16 лет, будут лучше подготовлены, хотя и не вполне. Мы надеемся на тебя, педагог, что ты сумеешь дать при этих трудных условиях, и если не выполнить, то начать великую дорогу, чтобы поток просвещения был очищен от классового духа, чтобы только чистые воды науки, искусства, правды вливались в детские души, чтобы просвещение первый раз стало не классовым, не партийным, а человеческим и потому социалистическим. Далеко не всякий педагог этому внемлет! Есть такие, которые не хотят слушать, которые затыкают уши ватой, хотят как Фамусов на Чацкого кричать: „не слушаю... в тюрьму“, зарыться куда то в подушки, придумывать оправдание, почему не хочет откликнуться, или ссылаться на то, что потолок течет. Вы как на это скажете: течет потолок?... Течет, это верно, но и время течет и не на ничтожные пробоины и царапины надо смотреть, а когда идет борьба, нужно быть готовым на огромные жертвы, и без огромного энтузиазма и жертв в такие исторические периоды, как наш, жить нельзя... Серый человек, который копошится в настоящей жизни,—самый безотрадный человек... Время уж очень большое и надо

Воспитанники Детского Дома имени А. В. Луначарского со своим дорогим гостем.

Автограф: „Очень полюбил детишек детдома своего имени. Буду справляться как растут и умнеют, буду рад помочь в их маленьких нуждах. Всех преподавателей благодарю за их полную любви работу

тем, кто очень коротконог, становиться хоть на цыпочки .. А много таких, захваченных старьем, которые говорят: „где меня переучат, у меня, слава богу, волосы седые". Они хотят, чтобы по новому... Как это по новому, когда учебников нет... Как это мне самому думать, я думать не привык... Это в грубом каррикатурном виде, но действительно то, что многие и себе, и другим говорят.

И есть педагог страдалец, который все это слышит, на все откликается и говорит: „Не могу, нет у меня этих знаний, нет у меня этой сноровки... Всей душой понимаю, к какому страшному делу я призван; я понимаю, что на мне, русском педагоге, лежит ответственность за несколько поколений детей, имевших счастье и опасность родиться во время перелома, когда кончается звериное царство и начинается подлинное человечное (апплодисменты), во время перелома, который происходит в муках и борьбе и тем более чреват всякого рода рисками... Помогите мне"...

И мы, коммунисты, которые призываем его к этой работе, говорим, что и мы в этой части слабы: мы смогли раскрывать книги и календари, связать мягкотелую Россию, обывательскую и крестьянскую, мы сумели организовать ее в железное единство. Она отвоевалась, она самостоятельна, она творит свою судьбу, но мы, партия, одни ничего не можем дальше сделать; нужно сочетание всех сил, нужно глубокое сотрудничество в самостоятельном размышлении, как итти, где порог, где можно найти переходные мосты, чтобы миновать ту или иную пропасть... В этом отношении нужно громадное сотрудничество всех слоев русского населения. Пора отбросить всякие недоразумения, всякие счета, всякие сомнения, пора понять, что произошел страшный сдвиг, что из куколки мы вышли, мы скоро научимся летать, но пока ослеплены новым миром, который перед нами открылся и окружены морем врагов: и внутри нас, по массе стихийных опасностей, и вне нас, в лице конкурентов и ненавистников, которыми окружены. Час нашего великого освобождения—есть час великой опасности и надо нам сплотиться в одно единство во всем союзе советских республик, памятуя, что это привлечет к нам весь мир трудящихся, и это гигантское большинство обеспечит нам победу... Надо смыкать ряды! И когда коммунистическая партия зовет педагога, она зовет его с дрожью в голосе, она понимает, как он ей бесконечно нужен, как вся решительно задача строительства социалистической культуры, задача борьбы с невежеством, которое есть наша гангрена, как она вся зависит от того, сумеет ли он, этот учитель, переподготовиться,—как мы выражаемся,—подготовиться до сознания того, что он призван первый раз организовать истинную человеческую школу...

Тут надо ждать, что на этот 6-ой год нашей общей борьбы мы уже далеко на пути к такому сближению и общему разрешению вопроса. И если есть среди нас 3-ий тип педагога, педагоги которые знают куда итти, которые являются передовыми людьми, могут ошибаться, но твердо чувствуют под собою почву в смысле хорошего разумения классической педагогии, в смысле ориентировки в американских методах трудовой школы, в смысле внутреннего понимания своеобразного положения вопроса о русской школе,—то такие педагоги должны цениться не только на вес золота, а не знаю на какой вес: это фермент, при помощи которого мы всю нашу опару заставим взойти, потому что знание есть более заразительная вещь, чем чума. Если правильно пользоваться знающим человеком, то он с необычайной быстротой, в течение даже не десятков лет, а нескольких годов, может обогатить знаниями значительную массу от одного к другому. Такие люди у нас есть, как их не мало, есть огромная готовность учиться, есть у нас новая молодежь, которая идет нам помогать, слабая знаниями, но сильная духом и энтузиазмом,

молодежь, которая учится в бедных педагогических учебных заведениях, часто недостаточно обставленных в смысле правильного преподавания, которая учится в верном направлении и полна высокого сознания ожидающей миссии и готовности принести и во время учения, и в дальнейшем множество жертв, ибо все жертвы окупятся той громадной результатностью труда, которая дает педагогическое поприще.

Я хочу закончить свой доклад, далеко не исчерпывающий. Мне надо было бы прочесть вам минимум целую серию лекций, чтобы сговориться о политике наркомпроса не только в деталях, но и в важнейших чертах. Я извиняюсь поэтому, если много вопросов осталось без ответа, но я хочу кончить доклад одной замечательной фразой, в общем мне не симпатичного, но великого, величайшего реформатора Мартина Лютера. Лютер в своем послании к учителям германским говорит: „если бы я не был проповедником, я хотел бы быть учителем, ибо, как проповедник, я обращаюсь к людям горбатым и сухоруким, к людям искалеченным, загрязненным жизнью, а вы, учителя, вы обращаетесь к чистым душам. Истина, которую я проповедую, падает в душу искаженную и сама порою там искажается, или остается лежать в туне; истина, которую вы вносите в восприимчивую, чистую детскую душу, будет гореть там ярким пламенем"... Вот мы могли бы тоже самое сказать, что не будь мы агитаторами, призванными искалеченным душам взрослых проповедывать нашу истину, потому что они, только искалеченные сильные люди, могут произвести переворот, спасающий людей, то каждому из нас может быть было бы сладко обратиться к той чистой аудитории, к тем свежим сердечкам, к тем светлым, открытым маленьким умам, из которых можно сделать так страшно много и из каждого из которых, при правильном педагогическом подходе, можно сделать настоящее чудо. Калечили человека, из человека делали чиновника и прочих чудовищ, а теперь надо из ребенка сделать чудо, сделать подлинного человека, который среди нас и отцов наших встречался редко, который должен все чаще встречаться среди наших младших братьев и сестер, еще чаще будет среди наших сыновей и дочерей и который сделается доминирующим среди наших внуков и внучек. Это чудо создастся революцией, создастся жизнью, но без вас оно создаться не может... Это единственное чудо, которое наука может признать; это возрождение, это преображение человека. И каждый педагог, когда он правильно понимает свою миссию, входя в класс или в какую нибудь комнату, где играют дети, или ведя их на лоно природы на прогулку, должен чувствовать, что совершает нечто торжественное, отчего его сердце должно трепетать радостью, что он участвует в чуде преображения человечества. Если это он поймет, какую громадную свободу действий и творчества в этом священном направлении получит он и как страстно революция зовет его делать это и как готова, при всей своей бедности, как можно скорее придти к нему на помощь,—то он, вероятно, восхищенным сердцем, несмотря на все трудности, в лучшие минуты скажет глубокое слово благодарности революционному пролетариату и его вождю—российской коммунистической партии.

(Продолжительные бурные аплодисменты).

Дети—летом.

Игры.

Маленькие пасечники.

300,00

Fol 2